

Джеймс Скотт, «Благими намерениями государства»
избранные цитаты
Автор: Евгений Ксенчук

Никакая административная система не способна к представлению существующего социального сообщества кроме как через чрезвычайно схематизированный – и потому вряд ли адекватный – процесс абстракции и упрощения. Дело не только в возможности, хотя, как и лес, человеческое сообщество слишком сложно и разнообразно, чтобы его тайны легко было превратить в бюрократические формулы. Это связано с целью. Представители государства никак не заинтересованы — да и не должны быть заинтересованы — в описании целостной социальной действительности — так же, как ученый-лесовод не заинтересован в подробном описании экологии леса. Их абстракции и упрощения направлены на небольшое число целей, в девятнадцатом веке наиболее заметными из них были налогообложение, политический контроль и воинская повинность. Они нуждались только в таких методах и таком понимании, которые соответствовали бы этим задачам.

Современные абстрактные меры, которые измеряют землю по площади, — сколько в ней гектаров или акров — особенно неинформативны, если речь в этих числах идет о жизни семьи, которая урожаем с этих акров должна обеспечить себя. Сообщение фермера о том, что он арендует двадцать акров земли, столь же информативно, как сообщение ученого, что он купил шесть килограммов книг.

Административный чиновник признаёт, что мир, который он воспринимает, есть сильно упрощенная модель шумного и крикливого беспорядка, который представляет собой реальный мир. Он доволен этим упрощением, потому что уверен, что настоящий мир в основном пуст, — большинство фактов реального мира не имеет никакого отношения к любой конкретной ситуации, которая стоит перед ним, — и что наиболее существенные цепи причин и следствий коротки и просты.

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги — И кочки, и ямы, и ухабы — Прямым и чётким курсом там было не пройти, Спотыкались люди — да и лошади тоже — вдоль всего пути.

Должностные лица современного государства с необходимостью делают, по крайней мере, одну ошибку (а чаще несколько подобных), удаляющую их от общества, за которое они взялись отвечать. Они оценивают жизнь общества по ряду параметров, всегда несколько отдаленных от целостной действительности, которую, как предполагается, отразят их абстракции. Таким образом, диаграммы и таблицы учёных-лесоводов, несмотря на их способность объединять отдельные факты в некую целостность, не вполне точно отражают (да и не для этого предназначены) реальный лес в его разнообразии. Таким же образом кадастровый обзор и документ права собственности являются грубыми, часто вводящими в заблуждение представлениями существующих фактических прав использования и распоряжения землёй. Функционер любого большого ведомства «видит» интересующую его человеческую деятельность через призму упрощённых документов и приблизительных статистических данных: налогообложение, списки налогоплательщиков, земельные отчёты, средне-статистические доходы населения, количество безработных, уровень смертности, данные по коммерческой деятельности и производительности, общее число случаев заболевания холерой в некотором районе.

Доступность обозрению подразумевает наличие наблюдателя, который находится в центре и может разглядывать данный пейзаж. Виды государственных упрощений, которые мы рассматривали, предназначены для того, чтобы обеспечить власти схематическим представлением их общества: представления, недоступные человеку, не имеющему властных полномочий. Подобно американским полицейским на скоростных шоссе, надевающим зеркальные солнцезащитные очки, власти при помощи своих упрощений наслаждаются правом иметь картину только определённых аспектов общества. Эта привилегированная позиция типична для всех учреждений, где важнее всего команда и контроль сложной человеческой деятельности. Монастырь, казармы, заводские корпуса и административная бюрократия (производственная или общественная) выполняют много функций, подобных государственным, и часто подражают его информационной структуре.

Современное государство с помощью своих чиновников пытается с переменным успехом создать картину природы и населения с такими стандартизированными характеристиками, которые будут наиболее простыми при контроле, подсчёте, оценке и управлении. Утопическая, неизменная, постоянно недостижимая цель современного государства состоит в том, чтобы свести хаотическую, беспорядочную, постоянно изменяющуюся социальную действительность к чему-то такому, что было бы приближено к административной сетке наблюдений.

Стремление к однородности и порядку предупреждает об опасности того несомненного факта, что современное управление государством является в значительной степени проектом внутренней колонизации, часто истолковываемой на языке империалистической риторики как «цивилизующая миссия». Строители современного национального государства не просто описывают, наблюдают и наносят на карту, они стремятся организовать людей и окружающий мир так, чтобы они подходили к их методам наблюдения. Возможно, что эту тенденцию разделяют многие большие иерархические организации. Доналд Чизхолм в обзоре литературы по административному координированию делает вывод, что «центральные схемы координирования действительно работают эффективно в условиях, где заданное окружение известно и неизменно, и с ним можно обращаться, как с закрытой системой» 88. Чем более статично, стандартизировано и однообразно население или социальное пространство, тем оно чётче и легче поддаётся техническим приёмам государственных чиновников. Я полагаю, что под юрисдикцией власти цель многих государственных деяний состоит в преобразовании населения, пространства и природы в закрытые системы, не представляющие никаких неожиданностей и гораздо лучше наблюдаемые и контролируемые. Государственные чиновники могут навязывать свои упрощения, так как государство в совокупности своих институциональных установлений экипировано наилучшим образом для того, чтобы настаивать на обращении с людьми согласно своей схеме. Таким образом, категории, которые когда-то были искусственными изобретениями кадастровых инспекторов, переписчиков населения, судебных исполнителей или полицейских, могут организовывать повседневную жизнь людей, потому что они внедрены государством в специальные институты, структурирующую эту жизнь. Экономический план, топографическая карта, отчёт о собственности, план ведения лесного хозяйства, классификация по этнической принадлежности, банковский счёт, протокол задержания и карта политических границ приобретают свою силу ввиду того факта, что все эти сводные данные являются отправными пунктами для действительности, как ее чувствуют и формируют государственные чиновники.

При диктаторских режимах, где нет эффективного способа отстаивания другой реальности, фиктивные «бумажные» факты могут даже преобладать, потому что именно с помощью «бумаг» приводятся в готовность полиция и армия. Эти бумажные отчёты – действенные факты в судебном разбирательстве, в административном досье и для большинства функционеров. В этом смысле для государства нет никаких других фактов, кроме тех, которые содержатся в документах, специальным образом стандартизированных для этой цели. Ошибка в таком документе может иметь гораздо больше силы – и удерживаться гораздо дольше, – чем незаписанная истина. Например, если вы хотите отстоять ваше право на недвижимость, вам обычно предлагается сделать это при помощи документа, называемого актом о собственности, в судах и комиссиях, созданных для этой цели. Если же вы захотите иметь какое-либо положение из закона, у вас должен быть документ, который чиновники примут за доказательство вашего гражданства, будь тот документ свидетельством о рождении, паспортом или идентификационным удостоверением. Категории, используемые государственными деятелями, не просто предназначены делать окружение доступным и понятным: они создают мелодию власти, под которую большинство населения должно танцевать.

Все государственные упрощения, которые мы исследовали, изображают действительность картографически. То есть они предназначены обозревать только те аспекты многосложного мира, которые имеют для изготовителя карты сиюминутный интерес, а на все остальное – не обращать внимания. Жаловаться, что карты опускают нюансы и детали, не имеет смысла – они опускают информацию, которую необходимо опустить, чтобы карта функционировала нормально. Карта города, которая показывала бы каждый светофор, каждую выбоину, каждое здание, каждый кустарник и каждое дерево в каждом парке, стала бы столь же большой и сложной, как сам город, который она изображает. И это, конечно, скажется на цели картографии, которая по своей природе должна обобщать и суммировать. Карта – инструмент, предназначенный для выполнения определенной цели. Мы можем считать саму цель благородной либо преступной, но карта только выполняет свое предназначение – или она не в состоянии делать это. Мы уже отмечали очевидную способность карт не только подытоживать, но и преобразовывать то, что они должны просто отображать. Эта трансформирующая власть содержится, конечно, не в карте, а скорее во власти, которой обладают смотрящие на нее. Частная корпорация, стремящаяся максимально увеличить воспроизводимые урожаи древесины, прибыль и производство, будет изображать свой мир согласно этой логике максимизации и будет использовать всю власть, какая у нее есть, чтобы доказать, что логика ее карты справедлива. Государство не имеет монополии на утилитарные упрощения. Тем не менее, оно, во всяком случае, стремится к монополии на законное использование силы. Это делает понятным, почему с семнадцатого века до наших дней карты, имеющие наибольшую преобразовательную силу, изобретались и применялись наиболее мощным учреждением в обществе – государством.

Я полагаю, что многие из наиболее трагических эпизодов государственного развития в конце девятнадцатого и в двадцатом веке осуществлялись в особенно губительной комбинации трех элементов. Первый из них – это административное рвение, стремящееся приводить в порядок природу и общество, стремление, которое мы уже наблюдали по работе в научном лесоводстве, но поднятое на гораздо более всеобъемлющий и претенциозный уровень. «Высокий модернизм» кажется подходящим термином для выражения этого стремления. Этой веры придерживались многие представители разных политических идеологий. Его главными носите-

лями и выразителями были ведущие инженеры, планировщики, технократы, администраторы высокого уровня, архитекторы, ученые и мыслители. Если бы мы хотели вообразить пантеон или Зал славы представителей высокого модернизма, там почти наверняка были бы имена графа Анри де Сен-Симона, Ле Корбюзье, Вальтера Ратенау, Роберта Макнамары, Роберта Мозеса, Жана Монне, шаха Ирана, Дэвида Лилиенталя, Владимира Ленина, Льва Троцкого и Джулиуса Ньерере. Эти люди хотели пересмотреть и рационально перестроить все аспекты социальной жизни, чтобы улучшить условия существования человека. Как убеждение, высокий модернизм не был исключительной собственностью какого-нибудь политического направления; у него были, как мы увидим, и правые, и левые варианты. Второй элемент – безудержное использование власти современного государства как инструмента для осуществления этих проектов. Третий элемент – ослабленное, обессиленное гражданское общество, которое не имеет возможности сопротивляться осуществлению этих планов. Идеология высокого модернизма заставляет желать такой перестройки; современное государство обеспечивает средства действовать в соответствии с этим желанием; выведенное из строя гражданское общество выравнивает социальный ландшафт, чтобы строить эти утопические (или, скорее, антиутопические) общества.

Обратимся – коротко – к предпосылкам высокого модернизма. Здесь важно отметить, что многие из грандиозных бедствий двадцатого столетия, которые были организованы и осуществлены государством, представляли собой работу правителей с грандиозными и утопическими планами переустройства общества. Можно считать, что утопизм – это высокий модернизм справа, чему самым показательным примером является, конечно, нацизм. Массивная социальная перестройка при апартеиде в Южной Африке, планы модернизации своей страны шаха Ирана, организация деревень во Вьетнаме и гигантские схемы позднеколониального развития (например, схема Гезира в Судане) также могут служить примерами правого утопизма⁶. Но все же невозможно отрицать, что многое из тотальных, насильственно осуществленных государством социальных перестроек двадцатого столетия было работой прогрессивных, часто революционных элит. Почему? Ответ, я полагаю, заключается в том, что пришедшие к власти на волне всеобъемлющей критики существующего общества и желания преобразовать его, принятые народом (по крайней мере, первоначально), получившие полномочия на преобразования – конечно, они имели самые прогрессивные намерения, эти деятели. Они хотели использовать власть, чтобы вызвать огромные изменения в привычках людей, их работе, образе жизни, моральном поведении и взгляде на мир. Они развернули то, что Вацлав Гавел назвал «арсенал всеобъемлющей социальной перестройки». Утопические стремления сами по себе не опасны. Как заметил Оскар Уайльд, «на карту мира, на которой нет Утопии, не стоит даже смотреть – на ней нет единственной страны, где всегда обитает человечность». Но когда утопическая мечта насаждается правящей властью, пренебрегающей демократией, попирающей гражданские права, когда государственная власть использует самые необузданные средства для ее достижения, тогда искажается образ самой утопии. Если это происходит жестоко, с нарушением человеческих прав, значит, общество, подвергнутое таким утопическим экспериментам, неспособно сопротивляться. Что же такое тогда высокий модернизм? Это наиболее мощная (можно даже сказать, чрезмерно мускулистая) версия уверенности в научно-техническом прогрессе, которая связана с индустриализацией в Западной Европе и в Северной Америке приблизительно с 1830 г. до Первой мировой войны. Высокий модернизм вполне уверен в вечном прогрессе, связанном с развитием научно-технического знания, расширением производства, рациональным устройством общества, возрастающим удовлетворением человеческих потребностей, и, не в по-

следнюю очередь, с возрастающим контролем над природой (включая человеческую природу), обязанным научному пониманию естественных законов. Высокий модернизм есть, таким образом, особая, подчеркнутая уверенность в перспективах применения технического и научного прогресса — обычно при посредстве государства — в каждой области человеческой деятельности. Если, как мы видели, упрощенные, утилитарные описания государственных чиновников благодаря осуществлению государственной власти приводили факты в соответствие с их представлениями, тогда можно сказать, что высокомодернистское государство начиналось с детальных предписаний для нового общества, и оно решительно намеревалось ввести их.

Одной из необходимых предпосылок этого преобразования было открытие общества как некоего отдельного от государства объекта, который можно научно описать. В этом отношении статистическое знание о населении — его возраст, характеристики, занятия, богатство, грамотность, владение собственностью, степень законопослушности (что видно из статистики преступлений) — позволяет государственным чиновникам характеризовать население новыми и сложными способами — так же, как научное лесоводство позволило леснику аккуратно описывать лес. Йен Хакинг объясняет, каким образом уровень, например, самоубийств или убийств, характеризует людей вообще, так что можно рассчитать число убийств, которые будут совершены за год, хотя конкретные убийцы и их жертвы еще неизвестны. Статистические факты были разработаны в социальные законы. От упрощенного описания общества к его проектированию и манипуляции им с намерением его усовершенствовать — шаг небольшой. Если можно изменять природу, чтобы создавать более удобный для человека лес, почему бы не изменить общество, чтобы создать более удобное население? Возможности вмешательства потенциально бесконечны. Общество стало объектом, которым государство могло управлять и преобразовывать его с целью его усовершенствования. Прогрессивное национальное государство приступает к проектированию общества согласно наиболее продвинутому техническим стандартам новых моральных наук. Существующий социальный порядок, который более ранними государствами принимался как данность, впервые стал предметом активного управления, воспроизводя себя под бдительным присмотром государства. Оказывается, можно было проектировать искусственное общество — не по обычаю и произволу истории, а согласно сознательным, рациональным, научным критериям. Каждый укромный уголок, каждая извилина социального порядка могли подвергнуться улучшению: личная гигиена, питание, выращивание детей, жилье, состояние, отдых, структура семьи и, самое позорное, генетический фонд. Первым объектом научного социального планирования стали бедные рабочие. Системы улучшения их повседневного благосостояния разрабатывались прогрессивной городской здравоохранительной политикой и насаждались в образцовых фабричных городах недавно созданными организациями. Группы населения, которые были сочтены потенциально опасными — нищие, бродяги, психически больные и преступники — могли быть сделаны объектами наиболее интенсивной социальной инженерии. Метафора садоводства, которую предлагает Зигмунт Бауман, улавливает многое из этого нового духа. Садовник — возможно, здесь больше подойдет ландшафтный архитектор, специализирующийся в создании садов, — берет естественный участок и создает полностью искусственное пространство ботанического порядка. Хотя органический характер флоры ограничивает его возможности, садовник все же имеет огромную свободу действий в общем размещении и возделывании, обрезке, насаждении и выпалывании отобранных растений. Отношение между садом и природой, которая живет сама по себе, подобно отношению между полностью управляемым научным лесом и естественным лесом. Сад — это одна из попыток человека навязать природе свои соб-

ственные принципы порядка, полезности и красоты. То, что растет в саду, всегда представляет собой небольшой, сознательно отобранный образец того, что там могло бы расти.

Государственная социальная инженерия врожденно авторитарна. Вместо многих источников изобретений и внесения изменений допускается единственный — планирующая власть; вместо пластичности и самостоятельности существующей социальной жизни устанавливается социальный порядок, в котором положения участников четко обозначены. Тенденция к различным формам социальной таксидермии — искусственной жизни — была неизбежна.

Тревожащие особенности высокого модернизма проистекают главным образом из его притязаний претендовать от имени научного знания на усовершенствование условий человеческого существования и отвергать все иные, конкурирующие источники суждения. Прежде всего, и самое главное — высокий модернизм полагает возможным радикально порывать с историей и традицией. Поскольку современная рациональная мысль и научные законы могут дать единственно верный ответ на каждый эмпирический вопрос, ничто не должно считаться само собой разумеющимся. Все человеческие привычки и способы действий, которые достались нам по наследству и, следовательно, не были основаны на научном рассуждении — от структуры семьи и места жительства до моральных ценностей и способов производства, — должны быть заново исследованы и спроектированы. Конструкции прошлого были типичным продуктом мифа, суеверия и религиозных предрассудков. Из всего этого следовало, что научно разработанные системы производства и социальной жизни будут лучше полученных по традиции. Источники этого представления глубоко авторитарны. Если запланированный социальный порядок лучше, чем случайный, неведомо как сложившийся в результате исторической практики, отсюда следуют два заключения. Для управления в новую эпоху пригоден только тот, кто имеет научное знание, позволяющее различать и создавать этот превосходящий прошлое социальный порядок. Более того, тот, кто по своему ретроградному невежеству отказывается уступить научному плану, должен быть образован для своей же собственной пользы, в противном случае его сметут с пути. Сильные версии высокого модернизма, вроде тех, которых придерживались Ленин и Ле Корбюзье, культивировали олимпийскую безжалостность по отношению к объектам их вмешательств. Наиболее радикальный высокий модернизм предлагал все дочиста стереть и начать с нуля. Идеология высокого модернизма, таким образом, склонна недооценивать или вообще изгонять политический подход. Политические интересы могут только мешать социальным решениям, выдвинутым специалистами с адекватными научными инструментами анализа. Как частные люди, приверженцы высокого модернизма могли придерживаться довольно демократических взглядов относительно народного суверенитета или классических либеральных представлений о неприкосновенности частной сферы, обязывавших к определенным ограничениям права на вмешательство, но такие убеждения были чисто внешними и шли вразрез с их высокомодернистскими взглядами. Хотя высокие модернисты и хотели преобразовать социальные привычки и человеческий характер, начали они не с этого, а с непомерного стремления преобразовать природу на пользу человека — стремления, которое оставалось самым важным в их вере. Интеллектуалы почти всех политических убеждений были захвачены утопической возможностью, пленены победной песней техническому прогрессу, которая прозвучала в Коммунистическом Манифесте, где Маркс и Энгельс пишут: «Покорение сил природы, машинное производство, применение химии в промышленности и земледелии, пароходство, железные дороги, электрический теле-

граф, освоение для земледелия целых частей света, приспособление рек для судоходства, целые, словно вызванные из-под земли, массы населения».

Излюбленное время высокого модернизма – почти исключительно будущее. Хотя любая идеология, обожествляющая прогресс, выделяет будущее время, в высоком модернизме это особенно ярко выражено. Прошлое – это препятствие, история, которую надо преодолеть; настоящее – стартовая площадка для запуска в лучшее будущее. Ключевая характеристика как высокомодернистских рассуждений, так и публичных заявлений тех государств, которые им охвачены, это полная уверенность в героическом продвижении к целиком преобразованному будущему миру. Стратегически выбор такого будущего связан с определенными последствиями. В той степени, в какой будущее известно и достижимо, — а вера в прогресс дает твердую уверенность в этом — в будущих выгодах можно не сомневаться. Практический эффект должен убедить большинство высоких модернистов, что уверенность в лучшем будущем оправдывает многие краткосрочные жертвы, требуемые, чтобы получить туда доступ. Повсеместная распространенность пятилетних планов в социалистических государствах – пример этого убеждения. Прогресс воплощается в ряде предвидимых целей — в значительной степени материальных и измеримых, — которые должны быть достигнуты посредством экономии, труда и капитальных вложений. Конечно, не может быть никакой альтернативы планированию, особенно когда безотлагательность единственной цели – такой, как победа в войне – требует подчинения ей всего остального. Внутренняя логика такого упражнения, однако, подразумевает такую степень уверенности в будущем, в вычислимости средств, ведущих к цели, и в смысле человеческого существования, которое является поистине героическим. Такие планы должны бы часто корректироваться или уж быть совсем оставлены, но это требует такого героизма, который выходит за рамки всяких предположений.

В этом толковании высокого модернизма он должен обращаться к классам и стратам, которые больше всего получают, — в статусе, власти и богатстве — разделяя этот взгляд на мир. И, действительно, это – идеология преимущественно бюрократической интеллигенции, техников, планировщиков и инженеров. Их положение подразумевает не только права и привилегии, но также и ответственность за великую работу создания нации и социального преобразования. А там, где историческая миссия интеллигенции состоит в том, чтобы перетащить свой технически отсталый, необученный, ориентированный только на выживание народ в двадцатый век, принятая на себя культурная роль воспитателя своего народа становится вдвойне грандиозной. Наличие исторической миссии такой широты может преисполнить правящую интеллигенцию высокой моралью, солидарностью и готовностью приносить (и навязывать другим) жертвы. Это видение великого будущего часто находится в резком контрасте с беспорядком, нищетой и непристойной схваткой за мелкие преимущества, которое элиты, что очень вероятно, видят ежедневно у себя под носом. И легко себе представить, что чем более неподатлив и упорен реальный мир, перед которым стоит планировщик, тем больше потребность в утопических планах, заполняющих пустоту, от которой иначе можно впасть в отчаяние. Элиты, которые неявно разрабатывают такие планы, представляют самих себя как образцы для изучения прогрессивных представлений, к которым их соотечественники могли бы стремиться. Учитывая идеологические преимущества высокого модернизма как учения, едва ли удивительно, что так много постколониальных элит прошли под ее знаменем. Задним числом, конечно, легко судить, однако эта малопривлекательная картина дерзости высокого модернизма все же в некотором важном отношении чрезвычайно несправедлива. Если поместить происхождение высокомодернистской веры в надле-

жащий исторический контекст, если спросить, кто были врагами высокого модернизма, появляется гораздо более внятная картина. Доктора и проектировщики здравоохранения, обладавшие новым знанием, которое могло спасти миллионы жизней, часто шли наперекор распространенным предрассудкам и укрепившимся политическим интересам.

Мысль либеральной политической экономии состояла не только в том, что свободный рынок защищает собственность и созданное богатство, но что экономика слишком сложна для того, чтобы когда-либо детально управляться иерархической администрацией. Третье и, пожалуй, наиболее важное препятствие радикальному применению высокомодернистских схем состояло в существовании работающих представительских учреждений, через которые могло проявляться общественное сопротивление. Такие учреждения мешали наиболее драконовским мероприятиям по осуществлению высокомодернистских схем приблизительно таким же путем, которым гласность и мобилизация оппозиции в открытых обществах, как показал Амартия Сен, предотвращает голод. Правители, замечает он, не допускают голода и готовы его предотвратить, если их положение зависит от внешних факторов. Свобода слова, собраний и печати дает гарантию, что о широко распространившемся голоде станет известно, а свобода собраний и выборов в представительские учреждения заставляет избранных чиновников предотвратить голод, если это только возможно, потому что это отвечает интересам их самосохранения. Так что при либеральных демократических установлениях деятели, предлагающие высокомодернистские системы, должны приспосабливаться к мнению людей, чтобы быть избранными. Но высокий модернизм, не сдерживаемый либеральной политической экономией, лучше всего может быть понят через разработку его далеко идущих притязаний и их последствий.

Никто, мудрый Кублай, не знает лучше, чем Вы, что никогда не нужно смешивать город и слова, которые его описывают. - Итало Кальвино, Невидимые города.

Прямая линия, прямой угол и международные стандарты зданий – все это были шаги в направлении упрощения. Однако самым решительным шагом в этом направлении была приверженность Ле Корбюзье к строгому функциональному разделению, которое он отстаивал всю жизнь. Показателен второй из четырнадцати принципов этой доктрины, которую он излагал в начале Лучезарного города, а именно, «смерть улицы». Под этим он понимал полное отделение движения пешеходов от движения машин и, кроме того, разделение медленных и стремительных транспортных средств. Он терпеть не мог, когда смешивались пешеходы и машины: и идущим неприятно, и транспорту помехи создает. Принцип функциональной изоляции применялся наперекор всему. Написанный Ле Корбюзье и его братом Пьером заключительный доклад на второй конференции CIAM в 1929 г. начинался с нападения на традиционные методы строительства жилья: «бедность, неадекватность традиционных методов приводят к путанице, искусственному смешению функций, не связанных друг с другом. ... Мы должны найти и применить новые методы... естественно приводящие к стандартизации, индустриализации, тейлоризации ..., если мы упорствуем в существующих методах, в которых две функции [детали и строительство; циркуляция движения и структура] смешаны и взаимозависимы, тогда мы останемся цепенеть в той же неподвижности». Вне квартирного блока город стал упражнением в запланированной функциональной изоляции — это упражнение стало стандартной доктриной городской планировки до конца 1960-х годов. Предусматривались отдельные зоны для работы, жилья, для покупок и развлечений, для памятников и

правительственных зданий. Где только было возможно, рабочие зоны должны были подразделяться дальше, например, в здания офиса и фабрики. Последовательность Ле Корбюзье, с которой он настаивал на плане города, в котором каждый район имел одну и только одну функцию, была очевидна в его первом же действии после того, как был принят план Чандигарха, его единственного построенного города. Он заменил жилье, которое было запланировано для городского центра, «акрополем памятников» на участке в 220 акров на большом расстоянии от самого близкого жилья. В Плане Voisin для Парижа он выделил так называемый «La ville», который был предназначен для жилья, и деловой центр, предназначавшийся для работы. «Две эти разные функции, последовательные, а не одновременные, представляющие две совершенно различные и совершенно отдельные области». Логика этой твердой изоляции функций совершенно ясна. Гораздо легче планировать городскую зону, если она имеет только одну цель. Гораздо легче планировать движение пешеходов, если их пути не должны пересекаться с путями автомобилей и поездов. Гораздо легче планировать лес, если твоя цель состоит в том, чтобы максимально увеличить урожай древесины мебельного сорта. Когда один и тот же план должен служить двум целям, это раздражает.

Во взгляде Ле Корбюзье на то, как строятся властные отношения, нет никакой двусмысленности: иерархия преобладает во всех направлениях. На вершине пирамиды, однако, находится не капризный диктатор, а современный король-философ, который реализует научное понимание мира для блага всех. И действительно — вполне естественно, что хозяин планирует, а в свои нередкие приступы мании величия он еще и воображает, что один имеет монополию на правду. В порядке личного самовыражения в Лучезарном городе Ле Корбюзье заявляет: «я составил планы [для Алжира] после исследований, после вычислений, с воображением, с поэзией. Планы были необыкновенно правдивы. Они были неопровержимы. Они захватывали дух. Они выражали весь блеск нашего времени». То, что нас здесь интересует, не избыток гордости, но выражение непреклонной власти. Ле Корбюзье чувствует себя имеющим право требовать от имени универсальных научных истин. Его высокомернистская вера нигде так совершенно — или так угрожающе — не выражена, как в следующем отрывке, который я процитирую подробно. «Деспот — это не человек. Это - План. Правильный, реалистический, точный план, который один только в состоянии обеспечить решение вашей проблемы, план, установленный ясно, во всей полноте, в его неременной гармонии. Этот план был хорошо составлен вдали от криков ярости в офисе мэра или ратуши, от воплей электората или lamentаций жертв общества. Он был составлен спокойными и светлыми умами. Требуется учесть только общечеловеческие истины. Можно игнорировать весь поток текущих указаний, все существующие обычаи и каналы. Его не рассматривали или он не мог быть выполнен при действующей конституции. Он представляет собой живое создание, предназначенное для людей, способных реализовать его современными методами». Мудрость плана сметает с пути все социальные препятствия: избранные власти, избирателей, конституцию и юридическую структуру. Может показаться, что мы живем при диктатуре планировщика; по крайней мере, такое описание культа власти и беспощадности напоминает об образности фашистов. Но безотносительно к образам, Ле Корбюзье видит себя техническим гением и требует власти от имени своих истин.

В некоторых важных аспектах Бразилиа была по отношению к Сан-Пауло или Рио-де-Жанейро тем же, чем было научное лесоводство по отношению к естественному лесу. Оба плана намечают чрезвычайно четкие, запланированные упрощения,

созданные, чтобы наладить эффективный порядок, который может быть проверен и направлен сверху. Оба плана, как мы увидим, потерпели неудачу в сходных отношениях. Наконец, оба плана так изменяют город (и лес), чтобы они соответствовали простой сетке планировщика. **Жизнь в Бразилиа.** Большинство тех, кто переехал в Бразилиа из других городов, были поражены, обнаружив, «что это – город без людей». Люди жаловались, что в Бразилиа нет суматохи уличной жизни, нет ни одного из оживленных уличных углов и длинных витрин магазинов, которые так оживляют тротуары для пешеходов. Для них, первых жителей Бразилиа, а не планировщиков города, фактически получалось, что планирование мешало городу. Наиболее общим образом они выражают это свое впечатление, говоря, что в Бразилиа «мало уличных углов», подразумевая под этим, что в ней недостает сложных пересечений плотных окрестностей, где есть и жилье, и кафе, и рестораны с площадками для выступления, где можно работать и ходить по магазинам. Хотя в Бразилиа хорошо обеспечиваются некоторые житейские потребности, функциональное отделение работы от места жительства, торговли и развлечений, большие пустоты между супер-квадра и системой дорог, заполненной исключительно автомобильным движением, делают исчезновение уличных углов неизбежными. План дорог устранил пробки; но он также устранил долгожданные и приятные встречи пешеходов, которые один из информаторов Холстона назвал «точками компанейства». Термин *brasilite*, означая приблизительно *Brasil (ia) -itis*, который был создан жителями первого поколения, хорошо выражает психическую травму, которую они испытали. Намекая на соответствующее клиническое состояние, он означает осуждение стандартизации и анонимности жизни в Бразилиа. «Они используют термин *brasilite*, имея в виду свои чувства относительно здешней повседневной жизни: без радости отвлечения, беседы, флирта, ритуалов — как обычно протекает жизнь в других бразильских городах».

С точки зрения планировщиков утопического города, чья цель – изменить мир, а не приспособить его для жилья, шок и дезориентация, причиняемая жизнью в Бразилиа, является, может быть, частью ее дидактической цели. Город, который бы просто потворствовал существующим вкусам и привычкам, не соответствовал бы своей утопической цели.

К 1980 году 75 процентов населения Бразилиа жило в поселениях, появления которых никто никогда не ожидал, в то время как запланированный город имел меньше половины проектируемого населения в 557 000 человек. Точкой опоры бедноты, собранной в Бразилиа, были не только благодеяния Кубичека и его жены, доны Сары. Ключевую роль также играла политическая структура. Поселенцы оказались способны мобилизоваться, протестовать и быть услышанными в разумно сбалансированной политической системе. Ни Кубичек, ни другие политические деятели не могли упустить возможность вырастить политическую клиентуру, которая бы голосовала, как единый блок. Незапланированная Бразилиа — то есть реальная, существующая Бразилиа — весьма отличалась от первоначального видения. Вместо бесклассового административного города получился город, отмеченный абсолютным пространственным разделением согласно социальному классу. Бедные жили на периферии и ежедневно покрывали большие расстояния до центра, где жили и работали многие из элиты. Многие из богатых также создавали собственные поселения с индивидуальными зданиями и частными клубами, копируя образ жизни, существующий в Бразилии в других местах. Незапланированные Бразилиа — богатая и бедная — появились не случайно; можно сказать, что видимость порядка и четкости в центре города нужно было оплатить внеплановой Бразилиа по краям. Эти две Бразилиа не только отличались друг от друга, они находились в отношениях симбиоза.

Такие радикальные преобразования целой нации размера и разнообразия Бразилии трудно было даже вообразить, не говоря уже о том, чтобы провести их в пятилетний срок. Одни чувствовали, что Кубичек, подобно многим другим правителям поначалу желавший для всей своей страны большого будущего, разочаровался в возможности преобразования всей Бразилии и бразильцев и обратился к более посильной задаче – созданию с нуля утопического города. Построенный на новом участке, в новом месте, город создал бы преобразовательную физическую среду для новых жителей — среду, скрупулезно скроенную по самому последнему слову науки в области здоровья, эффективности и рационального порядка. Поскольку город строился бы по единому плану, земля находилась в собственности государства, все контракты, коммерческие лицензии и зонирование находилось в руках государственного агентства (Novacap) – в общем, условия казались благоприятными для успешной «утопической миниатюризации». Насколько успешной оказалась Бразилиа в роли высокомодернистского утопического города? Если мы будем судить это степенью, в которой она отличается от городов старой городской Бразилии, то ее успех был значителен. Если же мы будем оценивать ее способность преобразовать остальную часть Бразилии или вызвать любовь к новому образу жизни, то ее успех был минимален. Реальная Бразилиа, в противоположность гипотетической, оставшейся на бумаге, сопротивлялась этому плану, опровергала его и имела свои политические расчеты.

Самое существенное в аргументах Джекобс состоит в том, что не существует необходимого соответствия между впечатлением правильности, которую создает геометрический порядок, с одной стороны, и системой, которая эффективно удовлетворяют повседневные потребности, с другой. Почему следует ожидать, спрашивает она, чтобы хорошо функционирующие окружающие среды или толковые социальные мероприятия удовлетворяли визуальным понятиям упорядоченности и регулярности? Чтобы проиллюстрировать эту загадку, она ссылается на новый проект жилья в Восточном Гарлеме, прямоугольную лужайку, которая стала предметом осмеяния и презрения у всех жителей. Она была просто оскорблением для тех, кого насильственно переселили туда и заставили жить среди незнакомцев, где невозможно получить газету или чашку кофе или позаимствовать пятьдесят центов. Как оказалось, видимый глазом порядок лужайки скрывает жестокий беспорядок. Фундаментальная ошибка, которую делают городские планировщики, заявляет Джекобс, состоит в том, что они выводят функциональный порядок из физического расположения зданий: как они группируются по своим формам, то есть из визуального порядка. Наиболее сложные системы вовсе не обладают видимой регулярностью; их порядок следует отыскивать на более глубоком уровне. «Чтобы видеть сложные системы функционального порядка именно как порядок, а не хаос, необходимо понимание. Листья, слетающие с деревьев осенью, внутренняя часть двигателя самолета, внутренности кролика, редакция городской газеты – все это кажется хаосом, если смотреть на них без понимания. Если же понимать порядок этой системы, она выглядит совершенно по-другому». На этом уровне можно сказать, что Джекобс была «функционалисткой» – слово, использование которого было запрещено в студии Ле Корбюзье. Она ставит простой вопрос: какую функцию эта структура выполняет и насколько хорошо она это делает? «Порядок» вещи определен целью, с которой она создана, а не эстетическим видом ее поверхности. Ле Корбюзье, напротив, кажется, полагал, что наиболее эффектные формы всегда будут иметь классическую правильность и порядок. Физические среды Ле Корбюзье, спроектированные и построенные, имели, так же, как и Бразилиа, полную гармонию и простоту формы. Однако они оказались неудачными во многих важных отношениях как пространство для жизни и работы.

Недавно, замечает Джекобс, статистические методы и способы ввода-вывода, доступные планировщикам, стали гораздо более изощренными. Планировщиков поощряли на такие подвиги, как массовая расчистка тротуаров – теперь, когда они могли вычислить бюджет, материалы, пространство, энергию и потребности транспорта перестроенной области. Эти планы продолжали игнорировать социальные затраты перемещающихся семей, «как будто это были песчинки, электроны или бильярдные шары». Они тоже были основаны на печально известных шатких предположениях – они обращались со сложными системами, как будто их можно было упростить числовыми методами: например, посещение магазина превращается в совершенно математическую проблему, для решения которой надо знать только площадь, отведенную для магазина; управление движением выглядит как проблема перемещения некоторого числа транспортных средств в данное время в определенном числе улиц определенной ширины. Но эти проблемы были не только техническими, как мы увидим, реальные проблемы были значительно шире. Функциональное превосходство взаимодействия и сложности Установление и поддержание социального порядка в больших городах, как мы имели возможность убедиться, довольно хлопотное дело. Взгляд Джекобс на социальный порядок одновременно тонок и поучителен. Социальный порядок не является результатом архитектурного порядка, создаваемого площадями – сами площади его не создадут. Социальный порядок не вносится извне такими профессионалами, как полицейский, ночной сторож и государственный чиновник. Вместо этого, говорит Джекобс, «социальный мир тротуаров, улиц, городов... создается посредством запутанной, почти не осознанной сети добровольного управления и контроля поведения со стороны самих людей, и ими же и поддерживается». Необходимые условия безопасности улицы – ясное установление границ между общественным пространством и частным, и значительное число людей, которые контролируют это, смотрят на улицу («глаза на улицу») и в обратном направлении, будучи постоянно заняты какой-то полезной деятельностью. Она приводит пример области, где эти условия выполнены – северная оконечность Бостона. Его улицы весь день заполнены пешеходами, потому что там очень много удобно расположенных магазинов, баров, ресторанов, пекарен и других подобных мест. Сюда люди приезжают делать покупки, прогуливаться и наблюдать, как другие делают покупки и прогуливаются. Владельцы магазина имеют прямой интерес следить за тротуаром: они знают многих людей по имени, они находятся там весь день, их бизнес зависит от оживленности...

Каковы условия этого разнообразия? Тот факт, что в районе *сочетаются* различные первичные использования, утверждает Джекобс, является наиболее важным. Далее, улицы и кварталы должны быть короткими, чтобы не создавать своей длиной препятствий пешеходам и торговле. Здания должны иметь (в идеале) разный возраст и состояние, чтобы можно было взимать различную арендную плату и, соответственно, различным образом использовать их. Не удивительно, что каждое из этих условий нарушает одно или больше рабочих предположений ортодоксальных городских планировщиков наших дней: районы с единственным использованием, длинные улицы, архитектурное единообразие. Сочетание первичных использований, объясняет Джекобс, влекут за собой разнообразие и плотность людских потоков. Возьмем, например, ресторанчик в районе с единственным использованием — скажем, в финансовом районе Уолл Стрита. Такой ресторан должен делать фактически всю свою прибыль между 10 часами утра и 3 пополудни – часы, когда у работников офисов бывают утренние перерывы на кофе и на завтрак, а потом они поедут в конце дня домой и покинут эту стихшую улицу. А в ресторан в районе смешанного использования клиенты могут заходить в течение всего дня и вечером. Он может оста-

ваться открытым в течение большего количества часов, принося пользу не только его собственному бизнесу, но также и бизнесу расположенных поблизости специализированных магазинов, которые едва ли могли бы выжить в районе с единственным использованием, но в области смешанного использования станут живыми и действующими предприятиями. Самый беспорядок действий, зданий и людей — очевидный беспорядок, который оскорбил бы эстетический взор планировщика — был для Джекобс признаком динамической жизнеспособности: «Запутанные смешения различных видов использований — не хаос. Напротив, они представляют комплексную и высокоразвитую форму порядка». Джекобс весьма убедительно выступает в пользу смешанного использования и сложности, исследуя под микроскопом происхождение общественной безопасности, гражданского доверия, визуального интереса и удобства, но есть и еще более сильный аргумент за взаимопомощь и разнообразие. Подобно разнообразному естественному лесу, окрестности со многими разными видами магазинов, центров развлечения, услуг, различного жилья и общественных мест по определению являются более жизнеспособными. Экономически разнообразие коммерческих предложений (все от ритуальных услуг и коммунального обслуживания до магазинов и баров) делает район менее уязвимым к экономическим спадам. В то же время разнообразие обеспечивает много возможностей для экономического роста во время подъемов. Подобно монокультурным лесам, районы, специализированные на одной цели, оказываются особенно восприимчивыми к стрессу, хотя и могут сначала «поймать бум». Разнообразные окрестности более жизнеспособны.

Для Джекобс город — социальный организм: живая структура, которая постоянно изменяется и в которой постоянно создаются неожиданные возможности. Его взаимосвязи настолько сложны и плохо поняты, что планировщик всегда рискует нечаянно урезать его живую ткань, таким образом нарушая течение живых социальных процессов или даже разрушая их. Она противопоставляет «искусство» планировщика нормальному ходу повседневной жизни: «город не может быть произведением искусства. ... По отношению к содержанию буквально бесконечно запутанной жизни, искусство выражает ее произвольно, символически и абстрактно. В этом его ценность и источник его собственного порядка и последовательности... Результаты глубокого расхождения между искусством и жизнью не являются ни жизнью, ни искусством. Это — таксидермия, набивка чучел. На своем месте набивка чучел может быть полезным и приличным ремеслом. Однако когда образцы этого ремесла помещают на выставки, чтобы демонстрировать мертвые чучела городов, это заходит слишком далеко».

Мнение многих городских планировщиков о том, что они знают, чего люди хотят и как люди должны проводить время, кажется Джекобс близоруким и высокомерным. Эти планировщики принимали за истину — по крайней мере, принятые ими планы подразумевают это, — что люди предпочитают открытые пространства, визуальный (зонированный) порядок и тишину. Они предполагали, что люди хотят жить в одном месте и работать в другом. Джекобс полагает, что они ошибаются, и она готова аргументировать свою позицию повседневными уличными наблюдениями, а не чьими-то пожеланиями.

Джекобс имеет своеобразное, проникнутое пониманием отношение к новым формам социального порядка, которые появляются в многих районах города. Это отношение отражено в ее внимании к обыденным, но значимым человеческим связям, которыми пронизаны живущие полной жизнью районы. Признавая, что никакой городской район не может быть — не должен быть — статичным, она подчеркивает

необходимость минимальной степени непрерывности социальных сетей и «уличного языка», требуемых для создания связного единства. Если в данном месте должно работать самоуправление, размышляет она, в основе любого дела должна лежать непрерывность людей, которые ткут сети добрососедских отношений. Эти сети – незаменимый социальный капитал города. Всякий раз, когда капитал теряется – все равно по какой причине – доход [социальный] от этого исчезает и возвращается только тогда, когда накопится новый капитал, а это происходит медленно и с трудом». Это относится даже к трущобам – Джекобс была настроена резко отрицательно в отношении проектов расчистки трущоб, которые были в большой моде, когда она писала свою книгу. Трущобы не могли иметь много социального капитала, но тот, который они имели, надо было использовать, а не уничтожать.

...сомнения в том, что именно она указала на главные изъяны высокомерного высокомодернистского городского планирования. Первый изъян – предположение, что планировщики могут хоть с какой-либо долей вероятности делать предположения о будущем, которого требуют их схемы. Мы сейчас знаем достаточно, чтобы быть исключительно скептически настроенными по отношению к прогнозам, исходящим из текущих тенденций в нормах изобилия, движении в городе или структуре занятости и дохода. Такие предсказания часто бывали неправильны до сумасбродства. Что касается войн, нефтяных кризисов, погоды, вкусов потребителя и политических взрывов, наша способность предсказания – фактически нулевая. Во-вторых, частично благодаря Джекобс, мы теперь знаем больше о том, что хорошо для людей, которые живут в данном районе, но мы все еще знаем мало важного о том, как такие общины могут создаваться и поддерживаться. Работая с формулами плотности населения, зеленых насаждений и транспорта, можно добиваться эффективных результатов в узкой области, но вряд ли таким образом можно построить город, в котором захочется жить. Бразилиа и Чандигарх это демонстрируют. Отнюдь не является совпадением то обстоятельство, что многие из высокомодернистских городов, которые были построены — Бразилиа, Канберра, Санкт-Петербург, Исламабад, Чандигарх, Абуджа, Додома, Сиудад Гайана — были административными столицами. Здесь, в центре государственной власти, в полностью новом окружении, с населением, состоящим в значительной степени из государственных служащих, которые и обязаны были проживать там, государство может быть уверено в успехе своей сетки планирования. Тот факт, что задача города – быть государственной администрацией, уже значительно упрощает задачу планирования. Власти не должны бороться, как приходилось Хаусманну, с существовавшими раньше коммерческими и культурными центрами. Поскольку власти контролируют инструменты зонирования, занятости, проживания, уровня заработной платы и физического расположения, они могут подгонять окружающую среду к городу. Эти городские планировщики, которых поддерживает государственная власть, похожи на портных, которые не только вольны изобретать костюм, какой хотят, но могут даже урезать клиента так, чтобы он подходил к мерке. Городские планировщики, отвергающие «чучельный город», по выражению Джекобс, должны изобрести такое планирование, которое поощряет инициативу и непредвиденные обстоятельства; оно должно в минимальной степени ограничивать выбор, оно должно способствовать обращению людей друг к другу, контакту между ними, из которого инициатива и возникает. Чтобы проиллюстрировать возможное разнообразие городской жизни, Джекобс перечисляет различные применения, которые нашел за эти годы центр искусств в Луисвиле: постоянная группа актеров, школа, театр, бар, спортивный клуб, кузница, фабрика, склад, художественная студия. И тогда она спрашивает риторически: «Кто мог ожидать или проинвестировать такую последовательность надежд и услуг?» Ее ответ прост: «Только чело-

век, совершенно лишенный воображения, полагал бы, что сможет; только самонадеянный захотел бы».

В конце концов Ле Корбюзье с горечью отозвался о своем советском опыте: «Несколько раз меня просили составить планы городов для Советского Союза; к сожалению, это все оказалось сотрясением воздуха. Мне чрезвычайно жаль, что так получилось... Я изучил основные социальные истины так глубоко, что я должен был первым создать, естественным образом, великий бесклассовый город, гармоничный и радостный. Это иногда причиняет мне боль, когда я думаю, что в СССР я отвергнут по причинам, что ко мне кажется, не имеют отношения» (цит. по Cohen, *LeCorbusier and the Mystique of the USSR*, p. 199). Цит. там же – в оправдании линейной суровости его Московских планов, Ле Корбюзье писал: «от изогнутых линий образуется паралич, а выходящая дорожка – дорожка ослов». Подобно многому в Лучезарном городе, этот пассаж отражает постоянный призыв Ле Корбюзье к политическим властям, которые только и могли позволить осуществить его планы.

Сравните эту традицию с намерениями Ле Корбюзье, который писал: «Кафе и места отдыха больше не будут грибком, разъедающим тротуары Парижа. Мы должны убить улицу» (*Towards a New Architecture*, trans. Frederick Etchells [New York: Praeger, 1959], pp. 56-59).

Революционная партия: ее план и оценка деятельности. Чувство же, товарищ Чепурный, – это массовая стихия, а мысль – организация. Сам товарищ Ленин говорил, что организация нам выше всего. - Андрей Платонов, Чевенгур Коммунизм был наиболее искренним, энергичным и доблестным борцом современности... Это совершилось под коммунистическим... покровительством – то, что смелая мечта современности, освобожденная от препятствий беспощадным и всемогущим государством, продвинулась к своим основным целям: великим проектам, неограниченной социальной перестройке, высокой и разнообразной технологии, полному преобразованию природы. - Зигмунд Бауман, “Жизнь без выбора” Ленинский проект проведения революции во многом сравним с проектом построения современного города Ле Корбюзье. И то, и другое было достаточно сложным делом, которое пришлось доверить профессионализму и проницательности квалифицированных работников, вполне способных самостоятельно понимать, как план будет разворачиваться на деле. И так же, как Ле Корбюзье и Ленин придерживались в общих чертах сопоставимых вариантов высокого модернизма, так и взгляды Джейн Джекобс были близки взглядам Розы Люксембург и Александры Коллонтай, которые выступали против политики Ленина. Джекобс подвергала сомнению как возможность, так и желательность запланированного сверху города, а Люксембург и Коллонтай сомневались в возможности и желательности революции сверху, совершаемой партией авангарда. Ленин – архитектор и инженер революции. Ленин, если судить его по его главным работам, был убежденным высоким модернистом.

Теория и практика: революции 1917 года. Детальная оценка двух Российских революций 1917 года (Февральской и, главным образом, Октябрьской) увела бы нас слишком далеко. Однако есть возможность кратко перечислить некоторые из основных параметров, по которым действительный революционный процесс немного напоминал организационные теории, отстаиваемые в работе «Что делать»? Высокомодернистская схема революции более не подкреплялась практикой, а высокомодернистские планы для Бразилиа и Чандигарха были рождены практикой. Наиболее кричащий факт, относящийся к Российской революции, состоял в том, что она ни в

какой степени не была осуществлена авангардной партией, партией большевиков. В чём Ленин блестяще преуспел, так это в захвате власти, как только революция стала свершившимся фактом. Ханна Арендт кратко высказалась по этому поводу: «Большевики нашли власть, лежащую на улице, и подобрали её». И.Х.Карр, которым написано одно из самых ранних и наиболее полных исследований революционного периода, заключает, что «вклад Ленина и большевиков в ниспровержение царизма был незначителен» и что на самом деле «большевизм проследовал к пустому трону». И Ленин не был наделён даром предвидения, каким обладают главнокомандующие, чтобы ясно увидеть стратегическую ситуацию. В январе 1917 года, за месяц до Февральской революции, он с горечью писал: «Мы, люди старшего поколения, можем не увидеть решающих сражений грядущей революции». Большевики накануне революции действительно имели довольно умеренную поддержку рабочего класса, в основном среди неквалифицированных рабочих Москвы и Санкт-Петербурга, а массово среди рабочих преобладало влияние эсеров, меньшевиков, анархистов, были также и неприсоединившиеся. Более того, рабочие, которые были связаны с большевиками, редко подчинялись чему-либо, похожему на иерархическое руководство, описанное в «Что делать?»

В первую очередь наследники революционного государства имеют безусловный интерес в изображении себя как главных вдохновителей исторического события. Такой отчёт подчёркивает их исключительную роль в качестве руководителей и организаторов, а в случае Ленина он хорошо соответствует провозглашенной большевиками идеологии. Санкционированные повествования о революции, как указывает Милован Джилас, «описывают революцию так, как будто это был результат заранее запланированного действия его лидеров». Нет даже необходимости прибегать ни к цинизму, ни к лжи. Для лидеров и генералов совершенно естественно преувеличивать их влияние на события, потому что именно так выглядит мир из окон их кабинетов, и вряд ли в интересах их подчинённых противоречить этой картине. После захвата государственной власти победители очень заинтересованы в перемещении революции с улиц в музеи и учебники, настолько быстро, насколько это возможно, чтобы люди не решились повторить этот опыт. Схематический отчёт, выдвигающий на первый план решительность горстки лидеров, укрепляет законность их действий, акцентирует внимание на единстве и сплочённости, а главная его цель – сделать происшедшее неизбежным и потому, как можно надеяться, окончательным. Пренебрежительное отношение к самостоятельности народного действия служит дополнительной задачей: показать, что рабочий класс не способен к самостоятельному действию без внешнего руководства. Этот отчёт, кроме того, не упускает возможности назвать по имени внутренних и внешних врагов революции, подбирая подходящие цели для выражения ненависти и мести. Так создается и поддерживается стандартная версия истории, которая призвана закрепить именно такой исторический процесс, уничтожив свидетельства случайности. Принимавшие участие в «Русской революции» обнаружили для себя этот факт несколько позже, когда революция уже свершилась. Точно так же ни один из исторических участников, скажем, Первой мировой войны или битвы при Булже, не говоря уже об эпохах Реформации и Ренессанса, не знал в момент события, что он участвует в чём-то таком, что потом войдет в историю. Так как в конце концов события действительно выворачиваются в определенном смысле таким образом по причинам, которые выясняются только в ретроспективе, и неудивительно, что результат должен казаться неизбежным. Все забывают, что это можно вывернуть и совершенно иначе. В этой забывчивости ещё один шаг к утверждению революционного триумфа. Когда такие победители, как Ленин, берутся за изложение своих теорий революции – не столько самих революционных

событий, сколько официальной послереволюционной истории – рассказ, как правило, подчёркивает организованность, целенаправленность и гениальность революционного руководства и преуменьшает долю случайности. Финальная ирония состояла в том, что официальная история большевистской революции писалась более шестидесяти лет для того, чтобы подтвердить утопические директивы, данные в «Что делать?» **Ленинская работа «Государство и революция».** Позднего Ленина в работе Государство и революция часто противопоставляют Ленину периода «Что делать?» для демонстрации существенного изменения в его взглядах на отношения между партией авангарда и массами. Нет сомнения, многие из интонаций Ленина в брошюре, написанной с головокружительной быстротой в августе и сентябре 1917 года – после Февральской революции и как раз перед Октябрьской революцией – трудно согласовать с текстом 1903 г. Существовали важные тактические причины, почему в 1917 году Ленин призывал народ совершать как можно больше самостоятельных революционных выступлений...

Для Ленина абсолютно всё было в руках авангардной партии, которая имела монополию на знание. Он вообразил всевидящий центр – око в небе, не меньше – который формирует основания для строго иерархических действий, в которых пролетариату отводится роль простой пехоты или, хуже того, набора пешек. Для Люксембург партия могла видеть значительно дальше, чем рабочие, однако рабочие, которыми она предположительно руководила бы, постоянно бы её удивляли и преподносили бы ей новые уроки. Люксембург рассматривала революционный процесс как явление гораздо более сложное и непредсказуемое, чем его видел Ленин – вот так же Джекобс видела создание преуспевающих городских районов гораздо более сложным и полным неожиданностей, чем Ле Корбюзье. Метафоры, которые использовала Люксембург, как мы увидим, были весьма показательными. Воздерживаясь от военных, строительных и фабричных параллелей, она чаще писала о росте, развитии, накоплении опыта и учении. Мысль о том, что авангардная партия могла назначать или запрещать массовую забастовку, подобно тому, как командующий мог приказывать своим солдатам идти на передовую или держать их на казарменном положении, поражала Люксембург своей нелепостью. Любая попытка таким образом проектировать забастовку была не только нереалистична, но и безнравственна. Она отвергала отношение к рабочим, как к инструменту, лежащее в основе такого подхода. «Обе тенденции [назначение или запрещение забастовки] демонстрируют такое же чисто анархистское [sic] представление, что массовая забастовка есть просто техническое средство борьбы, которое может быть «разрешено» или «запрещено» с чьего-то позволения, согласно чьим-то знаниям и сознанию, как какой-нибудь складной нож, который кто-то хранит сложенным в кармане «на всякий случай», или же решает открыть его и использовать». Всеобщая забастовка или революция были сложным социальным событием, вовлекающим энергию и знания многих разных людей, и авангардная партия в этом событии была только одним из его факторов. **Революция как живой процесс.** Люксембург рассматривала забастовки и политическую борьбу как диалектические и исторические процессы. Структура экономики и рабочей силы помогала определять форму, но никогда не определяла сути предоставляемых возможностей. Так, если промышленность была мелкого масштаба и географически рассеяна, забастовки были обычно маленькими и также разбросанными. Однако каждый ряд забастовок заставлял проводить изменения в структуре капитала. Если, например, рабочие добиваются повышения заработной платы, её увеличение может вызвать ответные реакции в промышленности, механизации и новых структурах управления, каждая из которых будет влиять на характер следующего круга забастовок. К тому же, конечно, забастовка обычно преподавала рабочим но-

вые уроки и изменяла степень сплоченности и характер руководства 66. Это ориентация на процесс и человеческий материал послужила Люксембург предупреждением против узкого взгляда на тактику. Забастовка или революция не были просто целью, к которой тактика и руководство должны были быть направлены; процесс, ведущий к ней, одновременно и формировал характер рабочего. Как революция была организована, имело не менее важное значение, чем то, была ли она организована вообще – сам процесс имел важные последствия. Люксембург считала, что ленинское желание превратить партию авангарда в военный штаб для рабочего класса является и крайне нереалистичным, и безнравственным.

Взглянув вперед, на закрытый и авторитарный порядок, который сразу же после революции начал устанавливать Ленин, отметим, что предсказания Люксембург оказались хоть и пугающими, но точными: «Подавление политической жизни по всей стране при Советах убило ее вполне. Без всенародных выборов, без неограниченной свободы печати и собраний, без свободной борьбы мнений жизнь затухает в каждом общественном учреждении... Общественная жизнь постепенно засыпает ... На практике только дюжина выдающихся личностей [партийных лидеров] руководят, а элита рабочего класса приглашается поаплодировать речам лидеров и одобрить единодушно выдвинутые резолюции – вроде бы снизу, усилиями клики, ... настоящая диктатура в буржуазном смысле». Александра Коллонтай и Рабочая оппозиция Ленину. Александра Коллонтай критиковала большевиков после революции, находясь в их рядах, во многом так же, как это делала Люксембург. Революционная активистка, глава женского отдела Центрального Комитета (Женотдел), к началу 1921 года тесно связанная с Рабочей оппозицией, Коллонтай была занозой в рядах ленинской партии. Ленин расценил резко критический памфлет, который она написала как раз перед десятым съездом партии в 1921 году, как предательский акт. Десятый партийный съезд открылся сразу после организованного подавления Кронштадтского восстания рабочих и моряков и в разгар восстания Махно на Украине. Атака на партийных лидеров в такое тревожное время расценивалась как предательское обращение к «базовым инстинктам масс». Существовала прямая связь между Люксембург и её российской коллегой. На Коллонтай в начале века произвела глубокое впечатление работа Люксембург Социальная реформа или революция, а кроме того, она встречалась с Люксембург на совещании социалистов в Германии. Хотя памфлет Коллонтай вторил большинству критических работ Люксембург по поводу централизованной и авторитарной социалистической практики, его исторический фон был другим. Коллонтай излагала свою позицию в составе Рабочей оппозиции свободно избранных делегатов всероссийского съезда профсоюзов – тех самых профсоюзов, которые непосредственно осуществляли планирование и производство. Александр Шляпников, близкий союзник Коллонтай, и другие деятели профсоюзного движения были встревожены возрастанием доминирующей роли технических специалистов партии, бюрократии и партийного центра, привилегированным положением рабочих организаций. Можно еще было понять методы управления по законам военного времени во время гражданской войны. Но теперь, когда гражданская война была окончена, направление, в котором шло социалистическое строительство, оказалось у опасной черты. Коллонтай со своей стороны привнесла в профсоюзное движение богатство практического опыта, необходимого для улучшения работы с государственными органами в интересах работающих женщин, для которых организовывались ясли и столовые. В конце концов Рабочая оппозиция была объявлена вне закона, а Коллонтай заставили замолчать, но она успела оставить в назидание потомкам свою пророческую критику. Памфлет Коллонтай резко обрушивался на партийное государство, которое она сравнивала с авторитарным школьным учителем

почти в таких же выражениях, как и Люксембург. Прежде всего, она утверждала, что отношения между центральным комитетом и рабочими стали абсолютно односторонними и приказными. На профсоюзы смотрели, как на простые «связующие нити» или приводные ремни от партии к рабочим, от них ждали «воспитания масс» – как от учителя, чью программу и поурочные планы сначала проверяли и редактировали, а потом только позволяли использовать в работе с учениками. Она обвиняла партию в том, что её педагогическая теория устарела, в ней нет места для индивидуальности ученика.

Отправная точка Коллонтай, как и Люксембург, состояла в предположении о характере задач, которые возникают при проведении революций и создании новых форм производства. Для них обеих такие задачи похожи на плаванья по маршрутам, которых еще нет и не может быть на карте. Могут быть какие-то приближённые способы навигации, но не может быть никаких планов сражений, составленных заранее – многочисленные неизвестные в уравнении делают простое решение невозможным. На более техническом языке такие цели могут быть достигнуты только через стохастический процесс последовательных приближений, проб и ошибок, через эксперимент и опытное знание. Вид знания, требующегося в таких попытках – не дедуктивный вывод всего на свете из первопричины, а скорее то, что греки классического периода называли *metis* (метис), понятие, к которому мы еще вернёмся. Обычно его неправильно переводят как «ловкость», но метис лучше понимать, как вид познания, которое может быть приобретено только через долгую практику в аналогичных, но не идентичных задачах, которые требуют постоянной адаптации к изменяющимся обстоятельствам. Именно к этому виду знания призывала Люксембург, когда характеризовала строительство социализма как освоение «новой территории», требующее «импровизации» и «творчества». Именно к этому виду знания обращалась Коллонтай, когда упорно утверждала, что партийные лидеры совершали ошибки, что они нуждались в «каждодневном опыте» и «практической работе с основным классовым коллективом» тех, «кто на самом деле в одно и то же время производит и организует производство». Люксембург использовала аналогию, которую признал бы правильной любой марксист. Она спрашивала: мыслимо ли, чтобы даже самые умные управляющие феодальным поместьем смогли бы сами изобрести капитализм? И отвечала, конечно, нет, потому что их знания и навыки были напрямую привязаны к феодальному производству, точно так же, как технические специалисты её времени получили свои первые уроки в рамках капиталистической структуры. Для будущего в настоящем просто не существует прецедента. Повторяя для риторического эффекта мнение, которое выражали и Люксембург, и Ленин, Коллонтай утверждала, что «коммунизм невозможно установить декретом. Он может быть создан только в процессе практического научения, возможно, через ошибки, но только с помощью творческих сил самого рабочего класса». Роль специалистов и должностных лиц существенна, но «только те, кто непосредственно связан с производством, могут внести в него что-то по-настоящему новое». Для Ленина партия авангарда есть машина для организации революции, а затем для построения социализма – задачи, которые (по предположению) в основном решены. Для Ле Корбюзье дом – машина для жилья, а городской проектировщик – специалист, чьи знания говорят ему, как должен быть построен город.

Официальная история может частично формировать коллективную память, но она не может полностью вытеснить индивидуальный и коллективный опыт тех, кто фактически участвовали в революционном процессе. Для тех же, кто не имеет никаких личных воспоминаний и кто, таким образом, знает революцию только по учебни-

кам или патриотическим воспоминаниям, официальная история будет преобладать, если у них нет никаких других источников информации. Это как в песенке про гвоздь: не было гвоздя – подкова пропала, не было подковы – лошадь захромала... (пер. С.Маршака). Исключительно редко попадаете какое-нибудь историческое изложение событий, которое подчеркивает непредвиденные обстоятельства. Само создание изложения событий прошлого требует часто аккуратности и последовательности, которые не считаются с фактами. Любой, кто когда-либо читал газетный отчет о случае, в котором сам участвовал, признает это. Рассмотрим, например, тот факт, что человек, который совершил, скажем, убийство или который покушался на собственную жизнь, прыгнув с моста, будет после этого известен как человек, который стрелял так-то и так-то, или как человек, который соскочил с такого-то и такого-то моста. События жизни человека будут перечитаны в свете данного конца, будут считаться неизбежными, хотя этот акт, возможно, был совершенно случаен. В случае большевистской революции было также необходимо, чтобы официальный рассказ включал подлинное массовое движение, над которым большевики в конечном счете приняли руководство. Марксистская историография требовала бойца, революционного пролетария. Это было аспектом февраля и событий октября, которые не должны были изобретаться. О чем должно было быть написано в отчете, так это о свирепой борьбе между новым государственным аппаратом, с одной стороны, и автономными Советами и крестьянством, с другой.

Понятность объекта представляет собой условие эффективности направленного на него воздействия. Любое сколько-нибудь существенное вмешательство в жизнь общества – вакцинация населения, производство товаров, трудовая мобилизация, налогообложение лиц и их имущества, проведение кампаний по борьбе с неграмотностью, призыв на военную службу, проведение в жизнь санитарных норм, поимка преступников, введение всеобщего школьного образования – требует разработки наглядных единиц измерения. Этими единицами могут быть граждане, деревни, деревья, поля, дома или люди, сгруппированные по возрасту, в зависимости от типа воздействия на общество. Какими бы единицами измерения не приходилось оперировать, они должны быть выбраны так, чтобы их можно было распознать, наблюдать, регистрировать, подсчитывать, группировать и проверять. Уровень требуемых знаний должен приблизительно соотноситься с размером вмешательства. Иными словами, чем больше масштаб предполагаемого вмешательства, тем большая требуется четкость для его осуществления. К середине девятнадцатого века достигло полного расцвета явление, которое, вероятно, имел в виду Прудон, когда говорил: «Быть управляемым значит подвергаться слежке, инспектированию, шпионству, регулированию, индоктринации, поучению, перечислению и проверке, прикидке, оценке, цензуре, предписанию... Быть управляемым в каждом действии, сделке, движении, быть замеченным, зарегистрированным, подсчитанным, оцененным, предупрежденным, не допущенным, улучшенным, восстановленным, исправленным». С другой стороны – а Прудон сожалел об этом – было многое достигнуто в искусстве управления современным государством. Стоит подчеркнуть, что эти завоевания трудно достались и были сами по себе не очень значительными. Говоря широко, большинство государств «моложе», чем общества, которыми они претендуют управлять. Государства сопоставляются по типам поселений, социальных отношений и производства, не говоря уже о естественной окружающей среде, которая в значительной степени отразилась на своеобразии государственных планов. В результате появляется разнообразие, сложность и неповторимость социальных форм, структура которых (зачастую преднамеренно) трудна для понимания. Представьте на мгновение образцы таких городских поселений, как Брюгге или *medina* старого

средневосточного города, упомянутого ранее. Каждый город, каждый район и каждый квартал уникальны, всё это – историческая векторная сумма миллионов замыслов и действий. Хотя их формы и функции, несомненно, имеют логику, эта логика не определяется единым общим планом. Их сложность трудно передать на карте. Кроме того, описание, даваемое любой картой, ограничено во времени и пространстве. Карта одного района не поможет в описании своеобразной запутанности другого, а описание, которое адекватно сегодня, через несколько лет не будет иметь никакого смысла.

Каким же образом государство берет бразды правления обществом в свои руки? Здесь и в двух последующих главах я буду особенно интересоваться логикой, скрытой за крупномасштабными попытками переустроить сверху сельскую жизнь и производство. Наблюдаемый из центра, с королевского двора или с позиции государственного чиновника, этот процесс часто описывался как «цивилизационный». Я предпочитаю рассматривать его как попытку приручения, одомашнивания, своего рода социальной перепланировки, изобретённой, чтобы сделать сельскую местность, её продукцию и жителей более доступными для обозрения центром. В этих попытках приручения некоторые элементы кажутся если не универсальными, то, по крайней мере, очень общими, их можно назвать «закреплением оседлости», «концентрированием» и «радикальным упрощением» как расселения, так и обработки земель. Исследуем подробнее две печально известные схемы упрощения в области сельского хозяйства – коллективизацию в Советской России и деревни уджамаа в Танзании – с целью определения как политической логики разработки этих проектов, так и причин их многочисленных ошибок как производственных схем. Но сначала рассмотрим иллюстрацию из истории юго-восточной Азии, которая раскрывает большую общность целей, объединяющую проекты доколониальных, колониальных и независимых режимов, с увеличивающейся способностью современного государства реализовать эти проекты запланированного заселения и производства. Демографический процесс в доколониальной юго-восточной Азии был таков, что решение о контроле земли самой по себе, если только это не было стратегически важное устье, перешеек или пролив, редко принималось в государственной структуре. Контроль населения – по грубым подсчётам, пять человек на квадратный километр в 1700 году – значил куда больше. Ключ к успешному управлению государством обычно представлял собой способность привлекать и держать в пределах разумного радиуса существенную часть производительного населения. При относительной редкости населения и лёгкости его перемещения контроль пахотной земли был бессмыслен, если на ней не было людей, обрабатывающих её. Доколониальное государство, таким образом, старалось попасть в промежуток между тем уровнем налогов и требований, который поддерживал амбиции данного монарха, и тем, после которого ускорялась массовая эмиграция населения из страны. Доколониальные войны чаще велись за захват пленных с последующим поселением их около правящего двора, чем за далекие территории. Растущее производительное население, селившееся вокруг столицы монарха, было более надёжным показателем мощи королевства, чем физическое пространство, которым владел король. Доколониальное государство, таким образом, было очень заинтересовано в оседлости населения – в создании постоянных и долговременных поселений. Чем больше концентрация людей, производящих прибавочный продукт, тем легче присваивать зерно и рабочую силу, тем легче привлекать к военной службе.

Таким образом, в ленинском высоком модернизме сильный исторический отзвук нашло то, что Ричард Стайтс называет «административным утопизмом» русского

самодержавия и его советников в восемнадцатом и девятнадцатом веках. Этот административный утопизм нашёл выражение в преемственности систем организации населения (крепостные, солдаты, рабочие, чиновники), в учреждениях, «основанных на иерархии, дисциплине, регламентации, строгом порядке, рациональном планировании, упорядочении окружающей среды и уровней благосостояния». Санкт-Петербург Петра Великого был реализацией этой мечты в образе города. Город был размещён согласно строгому прямолинейно-радиальному плану на совершенно чистом месте. В соответствии с проектом его прямые бульвары были в два раза шире, чем самое высокое здание, которое, естественно, было в геометрическом центре города. Здания отражали свое общественное назначение и место в иерархии, это относилось к фасаду, высоте и материалу каждого здания, соответствующего социальной группе его жителей. Фактически физическое расположение города было четкой картой его соответствующих социальных структур. Санкт-Петербург имел много подобий, городских и сельских. В правление Екатерины Великой князь Григорий Потёмкин создал целый ряд образцовых городов (таких, как Екатеринослав) и сельских поселений. Следующие два царя, Павел Первый и Александр Первый, унаследовали страсть Екатерины к прусскому порядку и рациональности. Их советник, Алексей Аракчеев, учредил образцовое поместье, в котором крестьяне носили униформу и выполняли сложные инструкции по содержанию и обслуживанию поместья. Он ввёл «книги наказаний», содержащие записи о нарушениях режима. Это поместье было организовано на основе гораздо более смелого плана сети широко разбросанных и самостоятельных военных поселений, в которых к концу 1820-х годов было 750 000 человек. Эта попытка создать новую Россию, в которой не было бы беспорядка, подвижности населения вообще и постоянной смены приграничного населения быстро сошла на нет в результате общественного сопротивления, коррупции и неэффективности. В любом случае, задолго до того, как большевики пришли к власти, исторический пейзаж был уже засорён обломками крушения многих неудачных экспериментов авторитарного социального планирования. Ленин и его союзники смогли осуществить свои высокомодернистские планы, начиная почти с нуля. Война, революция и последующий голод привели к распаду дореволюционного общества, особенно в городах. Общий крах индустриального производства вызвал массовый отток населения из городов и фактический откат к бартерной экономике. Последовавшая четырёхлетняя гражданская война ещё более основательно разрушила существовавшие социальные связи и дала возможность большевикам, находившимся в трудном положении, попрактиковаться в методах «военного коммунизма»: реквизициях, законах военного времени, принуждении. Работая на выровненном социальном ландшафте и упиваясь возможностью считаться, в соответствии с высокомодернистскими амбициями, пионерами первой социалистической революции, большевики мыслили глобальными категориями. Почти всё, что они планировали, от городов и проектов отдельных зданий (Дом Советов) до больших строительных проектов (Беломорский канал) и, позже, больших индустриальных проектов первой пятилетки (Магнитогорск), не говоря уже о коллективизации, отличалось монументальными масштабами.

Хотя Кемпбелл не принял советское предложение создать обширное демонстрационное хозяйство, другие сделали это. М.Л.Уилсону, Гаролду Уэйру (который имел большой опыт работы в Советском Союзе) и Ги Риджину было предложено спланировать огромное механизированное хозяйство, специализирующегося на пшенице и располагающегося приблизительно на 500 000 акрах целинной земли. Уилсон писал своему другу, что это было бы самое большое механизированное хозяйство по производству пшеницы в мире. Они распланировали все расположение

хозяйства, применение рабочей силы, потребность в машинах, севооборот и жестко регламентированный план работы в гостиничном номере Чикаго за две недели в 1928 году. Тот факт, что они воображали, что такое хозяйство могло быть запланировано в чикагском гостиничном номере, подчёркивает их основное допущение, что ключевые решения абстрактны, а технические взаимосвязи свободны от контекста. Как пронизательно объяснила это Фицджеральд: «Даже в США эти планы были бы слишком оптимистичными, потому что они основаны на нереалистической идеализации природы и человеческого поведения. И поскольку планы показывали, что делали бы американцы, если бы они имели миллионы акров ровной земли, много разнорабочих и обязательство правительства не жалеть никаких расходов для поддержания целей производства, планы были предназначены для какого-то абстрактного, теоретического места. Это сельскохозяйственное пространство, которое не было ни Америкой, ни Россией, ни каким-то другим реально существующим местоположением, повиновалось только законам физики и химии, не признавая никаких политических или экономических зависимостей». Гигантский совхоз, носящий имя «Верблюд», который они основали около Ростова-на-Дону, на расстоянии тысячи миль к югу от Москвы, содержал 375 000 акров земли, которые должны были быть засеяны пшеницей. Как экономический эксперимент, этот совхоз оказался горьким провалом, хотя в первые годы он действительно производил огромные количества пшеницы. Подробные причины неудачи имеют для наших целей меньший интерес, чем тот факт, что большинство из этих причин могли бы быть сведены в итоге под рубрику контекста. Это была специфическая ситуация этого конкретного хозяйства, с которой он не совладал. Хозяйство в отличие от составленного плана не было гипотетическим, абстрактным, вымышленным, а оказалось непредсказуемым, сложным и своеобразным, со своей собственной уникальной комбинацией почв, социальной структурой, административной культурой, погодой, политическими ограничениями, механизмами, дорогами...

Из нашего краткого отчёта, кажется, ясно, что коллективизация сама по себе не была всецело делом Сталина, хотя он и несёт ответственность за её исключительную скорость и жестокость. Коллективизированное сельское хозяйство всегда было неотъемлемой частью большевистского плана будущего, и большая битва за её претворение в жизнь в конце 1920-х годов вряд ли могла иметь какой-нибудь другой результат в свете решения неотступно следовать принудительному проекту индустриализации. Партийная высокомодернистская вера в большие коллективистские системы долго ещё продолжала существовать после безрассудных импровизаций начала 1930-х годов. Эта вера, утверждающая, что является и эстетической, и научной, отчётливо прослеживается в еще одной сельскохозяйственной высокомодернистской фантазии: а именно, в хрущёвском плане освоения целинных земель, начатом много позже смерти Сталина и после публичного осуждения его преступлений в период коллективизации. Удивительно, как долго держались эта вера и эти структуры, несмотря на очевидность их многочисленных неудач. 1 раунд: большевистское государство и крестьянство. Иногда мне кажется, что, если бы я мог убедить каждого говорить «приводить в порядок» каждый раз, когда он хочет употребить слово «освободить», и «мобилизация» вместо слов «реформа» или «прогресс», мне бы не пришлось писать пространные книги о взаимодействии правительства и крестьян в России. — Джордж Йени, Принуждение к мобилизации. В обстоятельной книге, упомянутой выше, Йени писал о дореволюционной России, но, тоже самое он мог бы легко написать и о большевистском государстве. До 1930 года между аграрной политикой ленинского государства и его предшественника — царизма — было больше сходства, чем различия. Та же вера в реформу сверху и в большие, современные

механизированные фермы, открывающие путь к продуктивному сельскому хозяйству. И, увы, тот же самый весьма высокий уровень невежества относительно сельской экономики во всей её сложности, доводящий власть до рейдов в сельскую местность с целью захвата зерна силой. Хотя эти черты сходства продолжали существовать даже после социальной ломки 1930-го года, новым в движении к коллективизации была готовность революционного государства полностью переделать социальный ландшафт в аграрном секторе, чего бы это ни стоило. Новое большевистское государство имело дело с сельским обществом, которое было значительно более скрытным...

Нет никаких сомнений, что множество бюрократических «патологий» усилило бедствия советской коллективизации. Это и тенденции администраторов концентрироваться на определенных, измеримых результатах (например, урожаях зерна, тоннах картофеля, тоннах чугуна в чушках), а не на качестве и том факте, что длинные цепи специализации и команды оградили многих должностных лиц от тяжелых последствий их поведения. Также трудность создания чиновников, которые отвечали бы перед своей клиентурой, а не перед высшим начальством, привела к тому, что патология группы «начальников», с одной стороны, и коррупции и корысти, с другой, была необузданной. Высокомодернистские схемы в революционном, авторитарном исполнении, как это было в Советском Союзе, таким образом, вероятно, уйдут дальше более легко и будут оставаться на этом пути более долго, чем при парламентском строе.

Неудивительно – и в этом едины все источники, – что фактически все деревенские собрания проводились однотипными методами лекций, разъяснений, инструктажей, нагоняев, предупреждений и сообщений о перспективах. Объединенные сельские жители, как ожидалось, станут тем самым «ратифицирующим общественным органом» (по удачному определению Солли Фолка Мура), призванными от имени народа легитимизировать решения, принимаемые в совсем другом месте. Весьма далёкая от народной легитимизации, кампания виллажизации создавала отчуждённое, скептически настроенное, деморализованное и не желающее сотрудничать крестьянство, которое еще обойдётся Танзании в огромную цену, и в непосредственно материальном смысле, и политически. «Устремленные вперед» люди и их посевные культуры. Запланированные деревни следовали не только бюрократической, но и эстетической логике. Ньерере и его планировщики имели свое представление о том, как должна выглядеть современная деревня. Такие визуальные идеи становились мощным тропом. Например, возьмём слово «устремленность». «Устремленность» стала символом для всех современных форм движения: экономных, чётких, эффективных и осуществляемых с минимальным трением – сопротивлением движению вперед. Политики и администраторы, спеша нажиться на символическом капитале, стоящим за этим термином, объявляют, что они делают устремленной эту организацию или ту корпорацию, позволяя зрительному воображению публики дополнить деталями бюрократический эквивалент устремленного вперед автомобиля или реактивного самолёта. Таким образом, термин, который имеет специфическое, контекстное значение в одной области (аэродинамике), становится обобщающим там, где его значение чисто визуально и эстетично, а не научно. Кроме всего прочего, как мы увидим, эстетика новой деревни являлась отрицанием прошлого. Во-первых, конечно, в административном смысле. То, что увидел Ньерере при посещении новых деревень в районе Шиньянга (северо-запад Танзании) в начале 1975 года, было довольно типично для бюрократической спешки и равнодушия. Некоторые из деревень были расположены, как «одна длинная улица зданий, растянувшихся на мили, как

вагоны поезда». Ньерере посчитал, что это был просто тяжелый случай «демпинга» переселенцев. Но в таких линейных деревнях был свой смысл и своя любопытная логика. Администраторы любили располагать новые деревни по обочинам основных дорог, куда легче всего добраться с проверкой. Поселение вдоль обочин не имело экономического смысла, но оно демонстрировало, что распространение государственного контроля над крестьянством было более важно, чем другая, также государственная цель – подъём сельскохозяйственного производства. Как понял когда-то Сталин, крестьянство, захваченное в плен, не становилось в результате производительным крестьянством. Визуальная эстетика правильной новой деревни соединяла в одно целое элементы административного порядка, опрятности и чёткости, как полагается при картезианском подходе. Это была современная административно-хозяйственная деревня, и она как будто выражала суть современного дисциплинированного и производительного крестьянства. Один проникательный наблюдатель, сочувствующий целям виллажизации, отметил общее явление. «Новый подход, - объяснял он, - соответствовал бюрократическому стилю мышления и тому, что бюрократия может делать эффективно: переселять крестьян в новые «современные» поселения, то есть в поселения с домами, стоящими близко друг к другу, прямыми рядами, вдоль дорог...

Самое существенное, однако, состоит в том, что современная плановая деревня в Танзании была последовательным, пункт за пунктом, отрицанием всей существующей сельской практики, которая включала: чередование земледелия и скотоводства; поликультурность посевов; проживание населения довольно далеко от главных дорог; власть рода и происхождения; маленькие, рассеянные поселения с хаотично построенными домами; производство, которое было распылено и непроницаемо для государства. Логика этого тотального отрицания брала верх над здравым смыслом и экологическими или экономическими соображениями.

Бюрократическое удобство, бюрократические интересы. Авторитарная социальная инженерия способна продемонстрировать полный диапазон стандартных бюрократических патологий. Преобразования, которые она хочет произвести в обществе, не могут быть вызваны к жизни без применения силы или, во всяком случае, не допуская такого обращения с природой или человеческими существами, как если бы они были просто функциональными образами некоторых административных шаблонов. Являясь чем-то гораздо большим, чем просто прискорбными аномалиями, эти побочные поведенческие продукты органически присущи такого рода высокомодернистским кампаниям. Я намеренно не обращаю здесь внимания на жестокость, которая неизбежна в такой ситуации, когда в руки во многом непредсказуемых руководителей, находящихся под давлением сверху, даны большие полномочия, чтобы добиться результатов любыми средствами, несмотря на народное сопротивление. Я лучше подчеркну два ключевых момента бюрократической реакции, являющихся типичными для деревенской кампании уджамаа: во-первых, стремление государственных служащих давать иное толкование кампании с той целью, чтобы она давала результаты, которые легко было бы представить вышестоящим начальникам; во-вторых, их готовность интерпретировать цели кампании в соответствии с собственными интересами. Первая тенденция была наиболее очевидна в сползании к сугубо количественным критериям исполнения. То, что могло бы называться «собственно деревней уджамаа», жители которой добровольно согласились на переезд и пришли к соглашению, как управлять общественным участком, где производители сами решали бы свои собственные местные проблемы (первоначальный образ деревни, который существовал у Ньерере), было заменено на «отвлеченную деревню

уджамаа» – нечто такое, что можно было вставить в поток статистической отчётности. Так, партийные работники и государственные служащие, отчитываясь о своих результатах, подчёркивали количество перемещённых людей, количество основанных новых деревень, приусадебных участков и проинспектированных общественных полей, пробуренных колодцев, расчищенных и вспаханных площадей, поставленного удобрения в тоннах и основанных отделений TANU. Даже если данная деревня уджамаа на самом деле представляла собой несколько грузовиков обозленных крестьян и их имущества, бесцеремонно выброшенного на участке, помеченном несколькими колышками.

Каждому администратору в спокойное, не бурное время кажется, что только его усилиями движется все ему подведомственное народонаселение, и в этом сознании своей необходимости каждый администратор чувствует главную награду за свои труды и усилия. Понятно, что до тех пор, пока историческое море спокойно, правителю-администратору, со своей уютной лодочкой упирающемуся шестом в корабль народа и самомудвигающемуся, должно казаться, что его усилиями двигается корабль, в который он упирается. Но стоит подняться буре, взволноваться морю и двинуться самому кораблю, и тогда уж заблуждение невозможно. Корабль идет своим громадным, независимым ходом, шест не достает до двинувшегося корабля, и правитель вдруг из положения властителя, источника силы, переходит в ничтожного, бесполезного и слабого человека. - Лев Толстой, «Война и Мир». - Конфликт между государственными чиновниками и специалистами, активно планирующими будущее страны, с одной стороны, и крестьянством, с другой, был объявлен – первой группой – борьбой между прогрессом и мракобесием, рациональностью и суеверием, наукой и религией. И все же, как наглядно показывают высокомодернистские проекты, которые мы исследовали, эти «рациональные» планы, которые навязывала первая группа, часто оказывались чреватые очевидными провалами. Ни как производственные подразделения, ни как человеческие сообщества или, наконец, как способы обеспечить население общественными службами, запланированные деревни не оправдали возложенных на них надежд, хотя иногда эти надежды были вполне искренними. В конечном счете, они не оправдали и надежд своих создателей на то, что с их помощью удастся лучше собирать налоги или обеспечить лояльность сельского населения, хотя, возможно, они – по крайней мере, на некоторое время – эффективно разваливали привычные социальные связи населения и, таким образом, помогали глушить коллективный протест.

Высокий модернизм и оптика власти. Если планы виллажизации были такими уж рациональными и научными, почему они вызывали такое тотальное разрушение? Ответ, мне кажется, в том, что они не были ни научными, ни рациональными в любом из значащих смыслов этих терминов. Ее проектировщики были способны уловить только некоторые эстетические идеи, которые являлись визуальной кодификацией современного сельского производства и общественной жизни. Как религиозная вера, эта визуальная кодификация была недоступна для критики и закрыта от несогласия. Вера в большие хозяйства, монокультурность, «правильные» деревни, вспаханные трактором поля, коллективное или общественное сельское хозяйство была эстетическим убеждением, поддержанным уверенностью, что к этому придет весь мир – в конечном итоге. Для всех, кроме горстки специалистов, эти представления не были простыми эмпирическими гипотезами, полученными на умеренном Западе в определенной обстановке, которые следовало тщательно исследовать на практике. В определенном историческом и социальном контексте, например, при выращивании пшеницы на равнинах штата Канзас, многие компоненты этой веры могли бы

иметь смысл. Однако она была генерализована и некритически применена – именно как вера – в совершенно иных обстоятельствах с самыми бедственными результатами. На самом деле совершенно непонятно, кто здесь эмпирик, а кто сторонник научной истины. Танзанийские крестьяне, например, с заметным успехом приспособили свои способы поселения и методы ведения сельского хозяйства к изменениям климата, новым культурам и новым рынкам за два десятилетия до виллажизации. Они, кажется, имели, безусловно, эмпирический, хотя и весьма осмотнительный взгляд на свои собственные методы. В противоположность им, специалисты и политические деятели находились во власти неудержимого квазирелигиозного энтузиазма, ставшего ещё мощнее благодаря поддержке государства. Но это была не просто вера. Она имела прямое отношение к статусу и интересам её носителей. Поскольку приверженцы этой визуальной кодификации осознанно преобразовывали свои общества, они ощущали острый и нравственно насыщенный контраст между тем, что выглядело современным – опрятным, прямолинейным, однородным, сконцентрированным, упрощенным, механизированным, и тем, что казалось им примитивным – нерегулярным, рассеянным, сложным, немеханизированным. Как техническая и политическая элита, имеющая монополию на современное образование, они использовали этот визуальный эстетизм, эти видимые знаки прогресса для определения своей исторической миссии и повышения своего статуса. Их модернистская вера была небескорыстна и в других отношениях. Сама идея о государственном плане, который будет разработан в столице и затем упорядочит периферию, превратит ее по своему образу и подобию в квазивоенные единицы, повинующиеся прямой команде, была абсолютно централистской. Каждая властная единица на периферии была не так сильно привязана к своему собственному поселению, как к командному центру в столице; линии связи довольно сильно напоминали сходящиеся линии, используемые для построения перспективы в ранних картинах эпохи Ренессанса. «Условность перспективы... собирает всё в глазу наблюдателя. Это похоже на свет маяка, только лучи не расходятся наружу, а собираются внутрь. Условное это представление было названо реальностью. Перспектива позволяет единственному глазу стать центром видимого мира. Все лучи сходятся к нему, как к точке схождения прямых в бесконечности. Наблюдатель воспринимает видимый мир именно так, как когда-то считалось – Бог воспринимает вселенную».

Образ согласованности действий подчиненных восходит к упомянутым в этой книге массовым упражнениям – тысячи тел, двигающихся в совершенном единстве согласно тщательно отрепетированному сценарию. Когда такая координация достигнута, это зрелище может влиять в нескольких направлениях. Проектировщики надеялись, что демонстрация массовой согласованности выражением своего мощного единства внушит зрителям и участникам благоговейный трепет. Этот благоговейный трепет становится еще больше из-за того, что, как на фабрике, управляемой по тейлористским принципам, только тот может оценить это представление полностью, кто находится вне и выше уровня даваемого представления; отдельные же его участники – всего лишь маленькие молекулы организма, чей мозг находится совсем в другом месте. Образ нации, которая могла бы функционировать таким образом, чрезвычайно приятен элите на вершине, но, конечно, унижает население, чья роль таким образом сводится к исполнению приказов. Кроме произведения впечатления на посторонних такие спектакли могут – по крайней мере, на короткое время – служить для элиты сеансами успокаивающего самогипноза, чтобы укрепить моральную цель и уверенность в себе. Модернистская визуальная эстетика, которая вызвала к жизни запланированные деревни, имеет к ним очень любопытное отношение: она вносит в это творение своеобразную статичность. С точки зрения этой эстетики создается за-

вершённая картина, которая уже не может быть улучшена. Проект ведь порожден научно-техническими законами, и скрытое допущение состоит в том, что, как только он завершён, задачей становится поддержание его формы. Планировщики стремились, чтобы каждая новая деревня походила на предыдущую. Подобно римскому военачальнику, прибывающему в военный лагерь, где он никогда до этого не был, чиновник, прибывающий из Дар-эс-Салама, точно знал, где найти всё, что ему может понадобиться, от штаба TANU до крестьянской ассоциации и медицинской клиники. Каждое поле и каждый дом тоже были почти идентичны и расположены согласно общей схеме. В той степени, до которой на практике воплощался этот образ, не было абсолютно никакой связи с особенностями места и времени. Это был вид ниоткуда. Вместо неповторимого разнообразия поселений, близко привязанных к местной экологии и с установившимися практиками ведения хозяйства, вместо постоянного приспособления к изменениям демографии, климата и рынков, государство создавало скучные одинаковые деревни, которые были одинаковы во всем, от политической структуры и социальной стратификации до методов выращивания культур. Число переменных было минимизировано. В своей совершенной четкости и сходстве эти деревни были идеальными взаимозаменяемыми кирпичиками в здании государственного планирования. Были ли они функционирующими, это уже другой вопрос. Провал проектов. Идеи не могут выразить действительность. – Жан-Поль Сартр. Для потенциальных реформаторов гораздо легче изменить формальную структуру учреждения, чем изменить его методы. Перепроектирование строчек и ячеек в организационной таблице проще, чем изменение работы организации. Замена правил и инструкций всегда проще, чем исправление поведения, которое стоит за ними 110. Перепроектирование физического расположения деревни проще, чем преобразование ее социальной и производственной жизни. По очевидным причинам политические элиты – особенно авторитарные высокомодернистские элиты – обычно начинают с изменений в формальной структуре и правилах. Такие легальные и узаконенные изменения наиболее доступны и легки в переустройствах.

Миниатюризация совершенствования и управления Претензия авторитарных высокомодернистских систем на упорядочение всего, что находится в пределах их досягаемости, сталкивается с сильным противодействием. Социальная инерция, закрепившиеся привилегии, международные цены, войны, изменение окружающей среды – упоминания только этих нескольких факторов достаточно, чтобы предсказать, что результаты высокомодернистского планирования будут существенно отличаться от того, что предполагалось первоначально. Государство затрачивает большие усилия – так было при сталинской коллективизации, – чтобы поддержать какую-то степень формального соответствия своим директивам. Тот, кто страстно стремится к реализации подобных планов, не останавливается перед сопротивлением со стороны социальной действительности этим планам. Единственной доступной реакцией на полную невозможность воплотить желанные планы в жизнь является отступление в царство воображения, миниатюризация – к образцовым городам и потёмкинским деревням, как это уже бывало. Легче построить образцовый город Бразилиа, чем существенно преобразовать страну Бразилию и бразильцев. В результате этого отступления создается небольшое, относительно автономное утопическое место, где высокомодернистские стремления можно более или менее реализовать. Крайний случай, когда контроль над ситуацией максимален, а взаимодействие с внешним миром минимально, может осуществиться только в музее или заповеднике. Я думаю, что эта миниатюризация усовершенствований имеет свою логику, несмотря на её отказ от крупномасштабных преобразований. Образцовые деревни, образцовые города, военные колонии, показательные проекты и демонстрационные фер-

мы дают политическим деятелям, администраторам и специалистам возможность создать отчётливо видный экспериментальный ландшафт, где число неподдающихся контролю переменных и неизвестных минимально. Конечно, если такие эксперименты успешно проходят путь от пилотной стадии до применения ко всему обществу, тогда они – абсолютно разумная форма политики планирования. У миниатюризации есть свои преимущества. Сужение фокуса допускает гораздо более высокую степень социального управления и дисциплины. Концентрируя материал и ресурсы государства в единственном месте, миниатюризация может приблизить архитектуру, планирование, механизацию, социальное обеспечение и посевы к образам своей мечты. Маленькие островки порядка и модернизации, как хорошо понял Потёмкин, политически полезны для должностных лиц, которые хотят угодить своему начальству и показать на живом примере, чего они могут достичь. Если вышестоящее начальство сидит на одном месте и не владеет нужной информацией, оно способно – как Екатерина Великая, очевидно, введенная в заблуждение убедительным потёмкинским пейзажем, – принять образцовый фрагмент за всю картину. Такая разовая и локальная демонстрация своего рода высокомодернистской версии Версаля или Малого Трианона позволяет ее автору избежать серьезного ущерба.

Мы уже подчеркивали, что запланированный город, запланированная деревня и запланированный язык (не говоря уже о командной экономике), вероятнее всего, окажутся скудными городами, деревнями и языками. Они скудны в том смысле, что не могут разумно запланировать чего-нибудь большего, чем несколько схематических аспектов той неисчерпаемо сложной деятельности, которая характеризует «плотные» города и деревни. Единственное, но вполне точно прогнозируемое последствие такого поверхностного планирования состоит в том, что запланированное учреждение произведёт на свет неформальную действительность – «темного двойника», который появится, чтобы удовлетворить многие из тех различных потребностей, которые запланированное учреждение не в состоянии удовлетворить само. Бразилиа, как показал Холстон, порождала «незапланированную Бразилиа» строительных рабочих, мигрантов и вообще тех, чье нахождение там и деятельность оказались необходимыми, но отнюдь не ожидались и не планировались. Почти каждая новая образцовая столица породила – как неизбежное сопровождение своих официальных структур – другой, гораздо более «беспорядочный» и сложный город, который выполнял официальную городскую работу и который фактически являлся условием её существования. Темный двойник – не просто аномалия, «объявленная вне закона действительность»: он представляет собой деятельность и жизнь, без которой официальный город перестал бы функционировать. Объявленный вне закона город имеет такое же отношение к официальному городу, как фактические методы парижских таксистов к Code routier . Если отвлечься от конкретики, то легко себе представить, что чем больше претенциозности и настойчивости в официально изданном приказе, тем больший необходим объём неформальных методов, чтобы поддерживать эту фикцию. Чем жёстче плановая экономика, тем в большей мере она сопровождается «подпольной», «теневой», «неофициальной» экономикой, которая тысячами способами снабжает людей тем, что не в состоянии обеспечить официальная экономика. Когда эта подпольная экономика безжалостно подавлялась, результатом всегда был экономический кризис и голод (Большой скачок и Культурная революция в Китае; автаркическая, безденежная экономика Пол Пота в Камбодже). Усилия, призванные вынудить жителей страны иметь постоянное закреплённое место жительства, приводили к тому, что в городских зонах существовали большие незаконные и незарегистрированные группы населения, которым было запрещено там проживать. Настаивая на неуклонном визуальном эстетизме в центре столицы,

власть сама производит трущобы, в которых кишат мигранты, которые подметают полы, готовят пищу и присматривают за детьми элиты, работающей в пристойном запланированном центре.

Большая пропасть, которая таким образом разверзается между неизбежно лживой авторитарной высокомодернистской социальной фикцией и неофициальными, «ненормативными» методами, которые не могут быть открыто признаны, но являются ее необходимым дополнением – диагностическая характеристика. Хотя мы еще вернемся к этой теме, уместно вспомнить, что лицемерие, цинизм и комический эффект, производимый пропастью между официальным благочестием лжи в общественной сфере и методами, необходимыми для воспроизводства повседневной жизни часто становятся материалом для превосходной литературы такого общества, поэзии и песен. Приручение природы: чёткое и упрощённое сельское хозяйство. Если разобрать колесницу, от нее ничего не останется. При установлении порядка появились имена. Поскольку возникли имена, нужно знать предел [их употребления]. – Дао Дэ Цзин. Неизбежно простые абстракции бюрократических учреждений, как мы это уже видели, никогда не могут адекватно отобразить фактическую сложность естественных или социальных процессов. Категории, используемые ими, слишком грубы, слишком статичны и слишком стилизованы, чтобы править миром, который пытаются описать. По причинам, которые скоро станут очевидны, высокомодернистское сельское хозяйство, поддерживаемое государством, вынуждено обращаться к абстракциям того же порядка. Простая «производительная и прибыльная» модель сельскохозяйственного развития и сельскохозяйственные исследования потерпели неудачу в важных способах представления комплексных, гибких и взаимосвязанных целей реальных фермеров и их общин. Этой модели оказалось не под силу описать пространство, где фермеры выращивают свои культуры – его микроклимат, влажность и движение воды, его микрорельеф и местную биотическую историю. Неспособное как следует представить богатство и сложность существующих ферм и полей, высокомодернистское сельское хозяйство зато преуспело в радикальном упрощении этих ферм и полей таким образом, чтобы их можно было более полно оценить, а также непосредственно контролировать и управлять ими. Я подчеркиваю именно радикальный характер упрощения сельскохозяйственного высокого модернизма, потому что вообще сельское хозяйство, даже в своей самой элементарной неолитической форме, неизбежно есть процесс упрощения растительного богатства природы. Как еще мы должны понимать процесс, с помощью которого человек поддерживает рост одних разновидностей флоры, которые он посчитал полезными для себя, и препятствует росту других, которые он счел ненужными? Логика радикального упрощения полей почти идентична логике радикального упрощения леса. Фактически упрощённое сельское хозяйство, разработанное раньше, послужило моделью для научного лесоводства. Руководящей идеей было увеличение урожая или прибыли. Леса были переосмыслены как «древесные фермы», в которых единственная порода деревьев была посажена прямыми рядами и, подобно зерновым, давала урожай, когда «созревала». Предпосылками таких упрощений, имеющих целью получение наибольшей прибыли или дохода, были существование товарного рынка и давление конкуренции – как на государственные, так и на частные предприятия. Поле одной культуры, как и лес одной определённой породы деревьев, игнорировало все многообразие остальных элементов биологического сообщества, если они не имели прямого влияния на жизнеспособность и урожай той породы, которая даёт наибольшую прибыль...

У этих неудач были систематические причины, обычно они приключались при самых выгодных предпосылках относительно административной эффективности и неподкупности. В этих систематических неудачах, по-видимому, работают, по крайней мере, четыре элемента. Два первые связаны с историческими корнями и институциональной связью высокомодернистского сельского хозяйства. Во-первых, поскольку эта дисциплина родилась на умеренном индустриальном Западе, носители модернизма в сельскохозяйственном планировании унаследовали ряд непроверенных допущений относительно посевной и полевой подготовки, которые, как потом оказалось, плохо работали в другой обстановке. Во-вторых, принятые предположения относительно специальных знаний воплощались в жизнь конкретными модернистскими сельскохозяйственными планировщиками, системы постоянно приспосабливались служить власти и статусу должностных лиц и государственных органов, которые ими управляли. Третий элемент, однако, действует на более глубоком уровне: это систематическая колоссальная близорукость высокомодернистского сельского хозяйства, которая приводит к совершенно определённым формам неудачи. Её преувеличенное внимание к производственным целям оставляет неизвестными все результаты, лежащие вне непосредственных связей между фермерскими затратами и урожаем. Это означает, что и на долгосрочные результаты (структура почвы, качество воды, отношения землевладения), и на косвенные результаты, которые экономисты называют «несущественными», обращают мало внимания, пока они не начинают влиять на производство. Наконец, сама сила научного сельскохозяйственного экспериментирования – его упрощающие предположения и его способность изолированно рассматривать воздействие отдельной переменной на всё производство – не способна контактировать адекватным образом с определёнными формами сложности. Оно игнорирует сельскохозяйственные методы, которые далеко отстоят от его собственных. Чтобы не возникло недоразумения относительно моей цели, я хочу подчеркнуть, что не выступаю вообще против современной агрономической науки, не говоря уже о выпадах против культуры научного исследования. Современная агрономическая наука, занимающаяся искусным разведением культур, патологией растений, анализом питания растений, почвы и технологическими тонкостями, создала фонд технической информации, который к настоящему времени используется даже наиболее традиционными земледельцами. Цель моя состоит в том, чтобы показать, как имперская претенциозность агрономической науки, ее неспособность признавать и включать знание, созданное вне ее парадигмы, резко ограничила ее применимость для многих земледельцев. Если фермеры, как мы увидим, заинтересованы в получении любых сведений, откуда бы они ни приходили, лишь бы они соответствовали их целям, современные сельскохозяйственные проектировщики гораздо менее восприимчивы к иным путям получения информации. Разновидности сельскохозяйственного упрощения. Сельское хозяйство на ранних стадиях. Всякое сельское хозяйство является упрощением. Даже самые поверхностные его формы всегда производят картину растительности, которая менее разнообразна, чем дикая. Культуры, которые человечество выращивает, стали полностью одомашненными и зависимыми в своём выживании от умения земледельцев вести хозяйственную деятельность – такую, как очистка земли, сжигание кустарника, взрыхление почвы, пропалывание, прореживание, удобрение навозом.

Современное индустриальное научное сельское хозяйство, характеризующееся монокультурностью, механизацией, гибридизацией, использованием удобрений и пестицидов и интенсификацией основных фондов, привело к такому уровню стандартизации в сельском хозяйстве, который не имеет исторического прецедента. По сравнению с простейшей монокультурностью в модели научного лесоводства, кото-

рое рассматривалось ранее, это упрощение в сельском хозяйстве повлекло за собой гораздо большее генетическое сужение, чреватое последствиями, которые мы только теперь начинаем постигать. Одной из основных причин увеличивающегося однообразия культур является интенсивное коммерческое давление с целью максимизации прибыли в условиях массовой конкуренции. Так, деятельность, направленная на увеличение плотности насаждений для повышения производительности земли, поощряла применение видов, которые допускали густые посадки. Большая плотность насаждений, в свою очередь, увеличивала использование химических удобрений и, следовательно, выбор подвидов, известных высоким потреблением удобрений (особенно азота) и реакцией на него. Одновременно рост больших сетей супермаркетов с их установившейся стандартизированной практикой отгрузки, упаковки и выкладки неуклонно вел к подчеркиванию важности товаров, которые были бы одинакового размера, формы, цвета и, что называется, «бросались в глаза». В результате такого давления должны были выделиться небольшое число культур, которые подходили бы под эти критерии (при отказе от других). Единообразие к тому же легче наладить на полях с помощью механизации. Поскольку производственные цены на Западе, по крайней мере, с 1950 года поддерживали замену наемной рабочей силы на сельскохозяйственные машины, фермер искал культуры, которые могли выращиваться при помощи механизмов. То есть он выбирал культуры, чье строение не нарушалось тракторами и распылителями, которые и созревали бы одновременно, и которые можно было собирать за «один проход» машины. Техника гибридизации развивалась приблизительно в то же самое время, но она была лишь короткой остановкой на пути создания нового многообразия культур, специально выводимых для механизации. «Генетическая изменчивость, - замечает Джек Ральф Клоппенберг, - является врагом механизации». В примере с кукурузой гибридизация – результат скрещивания двух диких культур – производит поле генетически идентичных особей, идеальных для механизации.

Вероятно, преднамеренное презрение к местной компетентности, выраженное большинством сельскохозяйственных специалистов, не являлось просто итогом предубеждения (образованной городской и ориентированной на Запад элиты по отношению к крестьянству) или результатом эстетической предвзятости, также заложенной в высоком модернизме. Скорее всего, существом официальной позиции было установление привилегий. Предположить, что местные методы земледелия вполне разумны, пока не доказано противоположное, что специалисты и фермеры могли бы многому научиться друг от друга, что специалисты должны договариваться с фермерами, как с полноправными политическими субъектами, означало бы подрывать установленный статус чиновников и власти вообще. Скрытая логика, лежащая в основе большинства государственных проектов сельскохозяйственной модернизации, была направлена на усиление власти центральных учреждений и уменьшение автономии земледельцев и их общин в отношении этих учреждений. Каждая новая действующая практика подгоняется к существующему распределению власти, благосостояния и статуса, и требования к сельскохозяйственным специалистам, чтобы они были независимыми работниками, не имея какого-либо ведомственного положения, едва ли могут быть приняты всерьез. Совершенно очевидны централизующий эффект советской коллективизации и деревень уджамаа. То же можно сказать и о тех больших ирригационных проектах, где властные структуры решают, когда пускать воду, как распределить и какую за неё взимать плату, или о сельскохозяйственных плантациях, где рабочая сила контролируется, как на фабрике. Результатом такой централизации и такого контроля будет полная дисквалификация поработанных крестьян. Это справедливо даже для семейных ферм в условиях либеральной эко-

номики, такова – по сути утопическая перспектива, которую обрисовал Либерти Хайд Бейли, растениевод-селекционер, апостол сельскохозяйственной науки и председатель Комиссии по сельской жизни при Теодоре Рузвельте. Бейли заявил: «В сельской местности будут введены должности докторов растений, агрономов-селекционеров, почвоведов, специалистов здравоохранения, работников по обрезке и опылению, лесоводов, организаторов досуга, рыночных экспертов,... [и] консультантов по ведению домашнего хозяйства,... [всех, кто] способен предоставить квалифицированный совет и руководство». Будущее, обрисованное Бейли, почти полностью организовывалось управленческой элитой: «Мы не должны представлять себе общество, полностью составленное из маленьких отдельных пространств «семейных ферм», населенных людьми, которые просто всем удовлетворены; это означало бы, что все земледельцы станут чернорабочими.

Выделение небольшого числа переменных величин, в идеале всего двух при контроле остальных, является ключевым принципом экспериментальной науки. Как процедура, этот принцип одновременно и ценен, и необходим для научной работы. Только при радикальном упрощении экспериментальной ситуации удаётся гарантировать однозначные, поддающиеся проверке, объективные и универсальные результаты. Один из первых основателей теории хаоса выразился следующим образом: «В физике имеется фундаментальное положение, что способ, с помощью которого вы понимаете мир, состоит в том, что вы не перестаёте разбирать его на составляющие, пока не дойдёте до тех, которые вы посчитаете действительно основополагающими. Тогда вы предполагаете, что другие пункты, которых вы не понимаете, – это детали. Допущение состоит в том, что имеется небольшое число принципов, которые вы можете распознать, разглядывая вещи в их чистом виде – в виде чисто аналитического понятия, – а когда приходится решать более сложные задачи, вы составляете их несколько более сложным образом. Если только можете». В сельскохозяйственном исследовании управление всеми возможными переменными, кроме тех, которые находились под экспериментальным наблюдением, требовало нормализации таких переменных, как погода, состав почвы и окружающая природа, не говоря уже о допущениях, часто скрытых, относительно размера хозяйства, наличия трудовых ресурсов и желаний самих земледельцев. Конечно, больше всего приближалось к идеалу контроля «лабораторное исследование». Однако даже экспериментальный участок на исследовательской станции был сам по себе радикальным упрощением. Он увеличивал до предела степень контроля «в пределах маленького и сильно упрощенного замкнутого пространства» и игнорировал всё остальное, оставляя его полностью бесконтрольным». Легко видеть, как удобно в пределах этой парадигмы подходили бы друг другу монокультурность и забота об урожайности. Монокультурность исключает все прочие культуры, которые могли бы усложнить проект, а забота о больших урожаях позволяет избегать тернистых оценочных проблем, которые определённо возникли бы, если бы целью были определённое качество или вкус. Научное лесоводство становится наипростейшим, когда оно заинтересовано только в коммерческой древесине, получаемой от определенного вида деревьев. То же самое можно сказать о научном сельском хозяйстве, когда оно решает вопрос наиболее эффективного пути получения максимального количества бушелей зерна от одного гибрида кукурузы с «нормированного» акра земли. При движении от лаборатории до опытного участка на экспериментальной станции, а затем к полевым испытаниям на реальных фермах экспериментальный режим все более утрачивается. Ричардс обращает внимание на трудности исследователей в Западной Африке, заинтересованных в более практическом характере своих исследований, но все же желающих как-то ослабить экспериментальные условия. После обсуждения вопроса

о том, каким образом отобранные для испытаний фермы сделать однородными, чтобы сообщать о результатах в единообразной форме, исследователи продолжали сетовать об экспериментальном контроле, который был потерян за пределами опытной станции. «Может оказаться трудным, - писали они, - повсеместно произвести посадку в течение нескольких дней и почти невозможным найти фермерские участки с одинаковой почвой». И продолжали: «Другие типы помех, такие, как нападения вредителей или плохой погоды, могут заставить выполнять иные процедуры».

На том уровне, где наука вынуждена одновременно иметь дело со сложным взаимодействием многих переменных, она начинает терять именно те характеристики, которые характеризуют её как современную науку. Даже объединение многих узких экспериментальных работ, являющихся исследованиями отдельных аспектов подобной сложности, в действительности не составят то же самое целое. Повторюсь – это не выпад против экспериментальных методов современного научного исследования. Любое обширное исследование, проведенное на ферме, которое не уменьшало бы сложности взаимодействий, могло бы показать, как это могут сделать фермеры, некоторый набор методов, давший «хорошие результаты», например, высокие урожаи. Но оно не было бы способно изолировать ключевые факторы, ответственные за этот результат. Мое исследование признает силу и полезность научной работы в пределах её сферы, а также признает её ограниченность в работе с теми проблемами, для которых её методы являются неподходящими. Слепые пятна. Возвращаясь снова к примеру с поликультурным ведением сельского хозяйства, можно понять, почему учёные-агрономы могли бы иметь как научные, так и эстетические и ведомственные основания для его неприятия. Сложные формы ведения межкультурных посадок подбрасывают слишком много переменных в одну игру, чтобы можно было однозначно экспериментально установить причинно-следственные отношения. Известно, что некоторые методы ведения поликультурного хозяйства, особенно комбинированные посадки бобовых растений, удерживающих азот, с зерновыми культурами, весьма продуктивны, но очень мало известно о природе взаимодействий, порождающих эти результаты. Мы наталкиваемся на проблемы, разбираясь в причинных связях, даже тогда, когда ограничиваем внимание одной переменной – величиной урожайности. Если мы ослабим это ограничение фокуса и начнём рассматривать более широкий диапазон зависимых переменных, таких, как плодородие почвы, взаимосвязь с содержанием домашнего скота (фураж, удобрение навозом), совместимость с семейной рабочей силой и так далее, трудности сопоставления скоро станут не под силу научному методу. Характер научной проблемы здесь аналогичен тому, что наблюдается в сложных физических системах. Изыщно простые формулы механических законов Ньютона позволяют относительно легко вычислить орбиты двух небесных тел, как только нам даны их массы и расстояние между ними. Однако добавьте еще одно тело, и вычисление орбит, полученных в условиях взаимодействия всех тел, становится гораздо более сложным. Когда же взаимодействуют десять тел (это – упрощенная версия нашей солнечной системы), причём никакие орбиты точно не повторяются, нет никакого способа предсказать расположение системы тел на долгое время вперёд. С каждой новой введенной переменной число разветвляющихся взаимодействий, которые нужно учесть, растёт в геометрической прогрессии. Я думаю, что не погрешу против фактов, если скажу, что научное сельскохозяйственное исследование обладает свойством выбирать те сельскохозяйственные методы, которые лежат в пределах его мощных технологий.

Близорукость. Почти все исследования, ставящие целью оценить новые решения, приносящие прибыль фермерам, – эксперименты, которые длятся один или,

самое большое, несколько сезонов. Безусловно, логика, лежащая в основе подобного исследовательского проекта, состоит в том, что отдаленные эффекты не будут противоречить ближайшим результатам. Вопрос временной перспективы исследования вполне значим даже для тех, для кого вопрос максимального увеличения урожаев является чашей Грааля. Пока они заинтересованы исключительно ближайшими доходами от урожаев, независимо от того, какими будут последствия их деятельности, их внимание должно быть направлено на проблему надёжности или на доход Хикса. Возможно, наиболее существенное фактическое различие будет не между теми, кто проектирует сельскохозяйственную политику, помня о культурных и социальных задачах (таких, как сохранение семейной фермы, ландшафта или его разнообразия), и теми, которые хотят максимально увеличить производство и прибыль, а скорее между производителем, заинтересованным в ближайшем доходе, и производителем, имеющим долгосрочные планы. В конце концов, беспокойство об эрозии почвы и снабжении водой реже мотивировалось сохранением окружающей среды, чем беспокойством о надёжности производства. Краткосрочная ориентация в изучении сельскохозяйственных культур и фермерской экономики приводит к исключению отдаленных результатов, которые интересуют производителей. Многие из претензий к поликультурному хозяйству, например, указывают на его чрезмерную длительность как системы производства. При испытании поликультурных посадок в течении двадцати или более лет, как предложил Стивен Марглин, можно было бы вполне получить выводы, весьма отличные от полученных по испытаниям продолжительностью в сезон или два 88. Так что очень может быть, что работа фермеров по открытому опылению и селекции, в противоположность гибридизации, позволила бы вывести культуры, примерно сравнимые по урожайности с лучшими гибридами и даже превосходящие их во многих других отношениях, включая доходность. Прибыль (на бумаге) от научно организованных монокультурных лесов, как мы теперь понимаем, была достигнута в значительной степени за счёт здоровья и производительности леса. Можно быть, следовало бы (так как большинство ферм – семейные предприятия) более внимательно исследовать стабильную экономику, которая принимала бы за аналитическую единицу времени полный цикл одного поколения семьи. Кажется, ничто в логике самого научного метода не требует, чтобы главным вопросом была ближайшая перспектива; скорее даже кажется, что такая перспектива является ответом на ведомственное и, возможно, коммерческое давление. С другой стороны, потребность выделить только несколько переменных при предположении постоянства всего остального и игнорировании побочных эффектов взаимодействия, лежащих вне экспериментальной модели, вполне определенно вписаны в научный метод.

Но, как мне кажется, Говард и другие исследователи упускают из виду наиболее важное обобщение относительно экспериментальной работы в научном сельском хозяйстве. Как мы можем определить, насколько полезной является эта исследовательская работа, пока мы не знаем, где, в конечном счёте, применят её земледельцы? Полезной для чего? Ответ находится на уровне человеческого фактора, где научное сельское хозяйство строит свою самую большую абстракцию: создание шаблонной личности, рядового земледельца, заинтересованного только в получении наибольших урожаев при наименьших затратах. **Воображаемые и реальные фермеры.** Не только погода, сельскохозяйственные культуры и почва сложны и изменчивы, это в полной мере относится и к фермеру. Год за годом и зачастую день ото дня миллионы земледельцев преследуют бесчисленное множество сложных целей. Эти цели и их постоянное переплетение бросают вызов любой простой модели или проекту. Выгодное производство одной или более основных сельскохозяйственных культур, являющихся обычным стандартным набором сельскохозяйственного иссле-

дования, по-видимому, является единственной целью, разделяемой большинством земледельцев. Однако поучительно понаблюдать, как глубоко опосредствована эта цель другими целями, которые вполне могут целиком подменить ее. Вот очень поверхностное изложение имеющихся сложностей. Каждое фермерское семейство имеет свой уникальный ресурс земли, навыков, инструментов и рабочей силы, которые оказывают значительное влияние на ведение хозяйства. Рассмотрим только один аспект – обеспеченность трудовыми ресурсами: «богатое рабочей силой» хозяйство, с большим числом крепких молодых рабочих, имеет возможность выращивания трудоемких сельскохозяйственных культур, соблюдения графиков работ и устройства подсобных ремесленных мастерских, которые недоступны хозяйствам с «бедной рабочей силой». Кроме того, семейное хозяйство проходит несколько стадий в ходе развития семейного цикла. Фермеры, которые уезжают на заработки на часть года, в соответствии со своим миграционным графиком могут выращивать сельскохозяйственные культуры раннего или позднего срока созревания или культуры, требующие небольшого ухода. Как мы видели ранее, прибыль от конкретного урожая может зависеть от большего количества факторов, чем сам урожай в зерне и его стоимость. Основной целью может быть стерня, как фураж для домашнего скота или водоплавающей птицы. Может быть важным возвращение какой-то определённой культуры, учитывая, что она даёт почве попеременно с другими сельскохозяйственными культурами или как она помогает развитию другой культуры, с которой она смешана в посадках. Зерновая культура может менее цениться за своё зерно, чем за то, чем она снабжает: скажем, за сырьё для кустарного производства, неважно, продаётся ли то сырьё на рынке или используется дома. Семейства, имеющие доход, близкий к прожиточному минимуму, могут выбирать свои культуры не по их доходности, а исходя из того, насколько устойчивыми являются их урожаи...

Утерянная связь. Неадекватные упрощения и практическое знание: Всякое сражение – Тарутинское, Бородинское, Аустерлицкое – всякое совершается не так, как предполагали его распорядители. Это есть существенное условие. - Толстой, «Война и Мир». Нам уже неоднократно приходилось наблюдать в природе и обществе провалы неадекватных и стереотипных упрощений, навязанных государственной властью. Утилитарная коммерческая и финансовая логика, приводящая к геометрически правильным монокультурным лесопосадкам одного возраста, наносила и серьёзный экологический ущерб. Там, где шаблон применялся с наибольшей пунктуальностью, это привело, в конце концов, к необходимости попыток восстановления многого из первоначального разнообразия и сложной структуры леса – или, скорее, создания «виртуального» леса, который подражал бы живучести и долговечности «донаучного» леса. Запланированный «город, построенный в соответствии с наукой», претворённый в жизнь согласно небольшому числу рациональных принципов, для большинства его жителей оказался социальным крахом. Как это ни парадоксально, крах запланированного города часто предотвращался практическими импровизациями и незаконными действиями, которые полностью отсутствовали в плане, как это, например, имело место в Бразилиа. Так же, как и логика, лежащая в основе научного леса, была неадекватным средством создания здорового и «преуспевающего» леса, так и бледная схематика Ле Корбюзье оказалась недостаточным средством для нормальной жизнедеятельности человеческого сообщества. Любой крупный социальный процесс или событие неизбежно окажутся гораздо более сложными для отображения, чем те схемы, которые мы можем разработать для них перспективно или ретроспективно. У Ленина, потенциального руководителя партии авангарда, были все основания для подчеркивания военной дисциплины и иерархии в проекте революции. После Октябрьской революции власти большевистского государст-

ва тоже имели все основания для преувеличения централизующей и прогнозирующей роли партии в организации революции. И все же, мы знаем – и Ленин, и Люксембург тоже понимали это, – что революция была драматическим событием, зависящим больше от импровизаций, ошибочных действий и неожиданных удач, так блестяще описанных Львом Толстым в романе «Война и мир», чем от тщательной отработки парада на плацу. Упрощения сельскохозяйственной коллективизации и планируемого из центра производства были вполне сопоставимы в колхозах бывшего Советского Союза и в деревнях уджамаа Ньерере в Танзании. Здесь тоже схемы, которые не потерпели неудачу, сумели выжить в значительной степени благодаря отчаянным мерам, не только не предусмотренным, но и просто запрещенным государственным планированием. Таким образом в российском сельском хозяйстве развилась неофициальная экономика, действующая на крошечных частных участках и при помощи «кражи» времени, оборудования и приспособлений из государственного сектора и поставляющая основную часть молочных продуктов, фруктов, овощей и мяса на российский стол. Таким же образом насильственно переселяемые танзанийцы успешно сопротивлялись коллективному производству и возвращались назад к участкам, более подходящим для боронования и культивирования. Время от времени ценой упорного навязывания государственных упрощений в аграрной жизни и производстве был голод – примерами служат принудительная Сталинская коллективизация или политика «Большого скачка» в Китае.

Эти довольно-таки крайние примеры обширной, навязанной государством социальной перестройки иллюстрируют, я думаю, главный смысл формально организованной социальной деятельности. В каждом случае неизбежно неадекватная схематическая модель социальной организации и производства, положенная в основу планирования, не могла создать набор инструкций для воплощения успешного социального порядка. Упрощенные правила никогда не могут воспроизвести функционирующее сообщество, город или экономику. Официальный порядок, для того, чтобы удержаться, всегда до значительной степени паразитирует на неофициальных процессах, не признаваемых формальной схемой, без которых он не мог бы существовать и которые он не может сам создавать или поддерживать. Поколения деятелей профсоюзного движения принимали на вооружение это понимание и использовали его как основание для забастовки в форме «работы строго по правилам». В забастовке «работа по правилам» (французы называют её *greve du zeile*) служащие начинают выполнять свою работу, методично соблюдая каждое из правил и инструкций и выполняя только те обязанности, которые указаны в условиях работы. Результатом, к которому они стремятся, является то, что работа тормозится вплоть до полной остановки, или, по крайней мере, сильно замедляется. Рабочие достигают эффекта своей забастовки, оставаясь на работе и следуя каждой букве инструкций. Их акция также наглядно иллюстрирует, насколько сильнее зависит действующее производство от неофициальных договорённостей и импровизаций, чем от формальных рабочих правил. Например, в длительной акции «работы по правилам», направленной против фирмы «Катерпиллер», крупного производителя оборудования, рабочие перешли к неэффективным технологическим приёмам, разработанными инженерами, понимая, что компания заплатит за это временем и качеством больше, чем если бы они продолжали применять свои более быстрые, уже давно изобретённые, практические методы. Они основывались на проверенном положении, что тот, кто работает строго по инструкции, неизбежно работает менее производительно, чем проявляющий инициативу. Этот взгляд на социальный порядок – отнюдь не открытие, скорее это социологический трюизм. Однако он дает ценную отправную точку для того, чтобы понять, почему авторитарные высокомодернистские системы настолько потенци-

ально разрушительны. Они игнорируют – часто до полного подавления – практические навыки, которые держат любую сложную деятельность. Моя задача в этой главе состоит в том, чтобы осмыслить эти практические навыки, называемые по-разному – умением (знанием дела или *arts de faire*), здравым смыслом, опытом, ловкостью или метисом. Что же это за навыки? Как они были получены, развиты и сохранены? Какое они имеют отношение к формальному гносеологическому знанию? Я надеюсь показать, что многие формы высокого модернизма заменили ценное сотрудничество между этими двумя сторонами знания «имперским» представлением науки, которое отвергает практическое умение, как в лучшем случае незначительное, а в худшем – невежественное. В связи между научным и практическим знанием, как мы увидим далее, отражается политическая борьба за учреждение гегемонии специалистов и их ведомств. Тейлоризм и научное сельское хозяйство в этом понимании – не только стратегии производства, но также и стратегии управления и присвоения.

В противоположность этому, подход индейцев был локальным и туземным; он подходил к общим особенностям местной экосистемы; он интересовался листьями дуба именно в этом месте, а не листьями дуба вообще. И независимо от специфических особенностей этот принцип прекрасно применяется везде. Он может быть с успехом использован где-нибудь в умеренных широтах Северной Америки, где есть дубы и белки. Точность, обеспечиваемая соблюдаемой последовательностью, почти всегда даёт временной выигрыш в несколько дней роста, не сильно увеличивая риск посадок перед сильным морозом. Практическое знание, подобное знанию Скванто, конечно, может быть объяснено на более универсальном научном языке. Ботаник мог бы заметить, что рост первых дубовых листьев обусловлен состоянием почвы и температурой среды, которые дают надежду, что кукуруза взойдёт и что вероятность убийственного мороза незначительна. То же самое могла бы подсказать средняя температура почвы на определённой глубине.

Некоторые колебания я испытываю перед введением в данное обсуждение ещё одного незнакомого термина, «метис». Однако этот термин, как мне кажется, лучше передает имеющиеся в виду практические навыки, чем это делают такие выражения, как «местное практическое знание», «народная мудрость», «практические навыки», «техне» и так далее. Понятие «метис» пришло к нам от древних греков. Одиссея часто хвалили за то, что у него имеется в изобилии метис и что он использует его, чтобы перехитрить своих врагов и вернуться домой. Метис обычно переводится как «хитрость», «хитроумие». Хотя перевод и верен, он не дает возможности оценить диапазон знаний и навыков, представляемых этим словом. В широком смысле слова метис представляет огромное множество практических навыков и приобретенных сведений в связи с постоянно изменяющимся природным и человеческим окружением. Метис Одиссея был очевиден не только в том, что он обманул Цирцею, циклопа Полифема и приказал привязать себя к мачте корабля для избежания соблазна Сирен, но также и в сплочении своих людей, в восстановлении судна и в гибкой тактике, применяемой с целью вызволения своих спутников из многочисленных опасных ситуаций. Здесь подчеркивается не только способность Одиссея успешно приспосабливаться к постоянно изменяющейся ситуации, но и его умение понимать, и, следовательно, обманывать своих человеческих и божественных противников. Все человеческие действия требуют значительного уровня метиса, но для некоторых необходимо формирование еще более высокого. Начиная с навыков, которые требуются для приспособления к капризному физическому окружению, на запасе метиса основывается приобретенное знание того, как управлять судном, запустить бумажного

змея, поймать рыбу, постричь овцу, водить автомобиль или ездить на велосипеде. Каждый из этих навыков требует глазомера, который приходит в результате практики и умения «читать» волны, ветер или дорогу и соответствующим образом управлять своим поведением. Одним из важных указаний на то, что все они требуют метиса, является то, что их исключительно трудно преподать, не прибегая к непосредственной практике. Можно было бы попытаться составить чёткие инструкции, как ездить на велосипеде, но вряд ли можно себе представить, что такие инструкции позволили бы новичку поехать на велосипеде с первой попытки. Принцип «практика приводит к совершенству» был изобретен как раз для такой деятельности, поскольку непрерывные, почти незаметные приспособления, необходимые для езды на велосипеде, постигаются в процессе самой езды. Необходимое приспособление станет автоматическим только благодаря приобретенному «чувству» равновесия в движении. Неудивительно, что большинство ремёсел и профессий, требующих контакта с орудиями и материалами, традиционно требовали долгого ученичества для овладения мастерством. Нет сомнений, что некоторые быстрее приобретают определенные умения, чем большинство других людей. Но, не касаясь этого малопонятного отличия (на которое часто указывают как на различие между компетентностью и гениальностью), езде на велосипеде, плаванию, ловле рыбы, стрижке овец и так далее можно научиться только через практику.

Оценивая ряд примеров, которых мы коснулись, мы можем отважиться на некоторые предварительные обобщения относительно природы метиса и того, где подобное знание является уместным. Метис наиболее применим к приблизительно схожим, но никогда не бывающим в точности идентичными ситуациям, требующим быстрой и отработанной реакции, которая становится второй натурой практика. Навыки метиса могут использовать и общепринятые правила, но приобретаются через практику (часто в обычном ученичестве) и развитое чувство стратегии. Метис сопротивляется упрощению его в дедуктивные принципы, которые могут успешно быть переданы с помощью изучения по книгам, потому что контексты, в которых он применяется, настолько сложны и неповторимы, что формальные процедуры принятия рационального решения становятся невозможными. В некотором смысле метис лежит в том значительном пространстве между областью гениальности, к которой не может быть применена никакая формула, и областью кодифицируемого знания, которое может быть выучено наизусть. **Местное знание.** Почему же методы, связанные с любым квалифицированным ремеслом, так плохо подходят для изложения? Художники или повара, заметил Майкл Оукшот, могут пытаться описать своё искусство и свести его до чисто технической информации, но то, что таким образом получается, представляет очень немногое из того, что им известно, к изложению может быть сведена очень небольшая часть их знаний. Познание правил ремесла стенографии не позволяет еще изучить его в совершенстве: «Эти правила и принципы представляют собой упрощения самой деятельности; они не имеют смысла вне её, они, лучше сказать, не могут управлять ею и не могут обеспечить её познание. Овладение в совершенстве правилами и принципами может сосуществовать с совершенной неспособностью к выполнению той деятельности, к которой они относятся, так как выполнение деятельности вовсе не состоит в применении этих принципов; а даже если бы и состояло, знание того, как применять их (знание фактического выполнения деятельности) не даётся в их содержании». Знание того, как и когда применять практические правила в конкретной ситуации составляет сущность метиса. Очень существенны тонкости применения этих правил, потому что метис наиболее ценен в контекстах, которые изменчивы, не определены (неизвестен ряд фактов) и имеют частный характер. Хотя мы ещё вернемся к вопросу о неопределённости и

изменчивости, я хочу остановиться на дальнейшем исследовании местного характера и специфичности метиса. Поучительно различие между более общей навигационной наукой и частным знанием правил навигации в судовождении. Когда большое грузовое судно или пассажирский лайнер приближаются к большому порту, капитан обычно передаёт управление своим судном местному лоцману, который проведёт судно в гавань до причала. И то же самое происходит, когда судно покидает причал – его ведет лоцман, пока оно благополучно не выйдет на морской простор. Эта разумная практика позволяет избежать многих несчастных случаев и отражает тот факт, что навигация в открытом море (в более «абстрактном» пространстве) представляет собой более общую специализацию, а умение провести судно среди других в некотором определенном порту есть сугубо контекстуальный навык. Мы могли бы назвать искусство навигации, которым обладает лоцман, «местным и специфическим знанием». Лоцману известны особенности местных приливов и отливов, течений вдоль побережья и морских рукавов, уникальные свойства местных ветров и характер волн, мели, неотмеченные рифы, сезонные изменения в течениях, условия движения...

Все государственные упрощения и утопические схемы, рассмотренные нами в предыдущих главах, касались деятельности, которая давала в пространственном и временном отношении уникальный результат. Знание о лесоводстве, революции, городском планировании, сельском хозяйстве и поселении вообще будет вести нас в понимании этого леса, этой революции и этой фермы только до определённой степени. Всё сельское хозяйство существует в определённом месте (поле, почва, культуры), в определённом времени (погодные условия, время года, смена популяций вредителей) и в определённых целевых объектах (потребности и вкусы семьи). Механическое применение общих правил, которое игнорирует эти особенности, приводит к практическим неудачам и социальному разочарованию. Общая формула не даёт и не может давать местного знания, которое только и делает возможной успешное преобразование с необходимостью недостаточно подробных общих представлений в успешное и детальное приложение в местном контексте. Чем более общими являются правила, тем более подробного перевода на язык местных обстоятельств они требуют. И дело не просто в том, что капитан и штурман осознают, что их практические навыки уступают совершенному местному знанию лоцмана. Скорее это вопрос признания того, что сами практические правила в значительной степени являются кодификацией, выведенной из реальной практики мореплавания и навигации.

Если сравнивать с разговорным языком, то практические правила родственны формальной грамматике, тогда как метис скорее похож на реальную речь. Метис нельзя вывести из общих правил, как речь не выводится из грамматики. Речь развивается с младенчества при помощи подражания, попыток применения на практике, через пробы и ошибки. Изучение родного языка – стохастический процесс, процесс последовательных самокорректирующихся приближений. Мы не изучаем сначала алфавит, состав слова, части речи, правила грамматики, и не пытаемся потом использовать это знание, чтобы построить грамматически правильное предложение. Более того, как указывает Майкл Оукшот, знание правил речи совместимо с полной неспособностью говорить связными предложениями. Скорее уж грамматические правила являются производными от практики реальной речи. Современное преподавание языков, которое стремится научить свободно вести разговор, признает это и начинает с простой речи и механического копирования с целью закрепления рече-

вых образцов и акцента, оставляя грамматические правила нетронутыми, их вводят позже для систематизации и подведения итогов практического овладения языком.

Логика таких переформулирований аналогична экспериментальной практике и установлению границ современного научного сельского хозяйства. Сузив область своего изучения, оно чрезвычайно выиграло в чёткости и научной силе, убрав возможные неуместные и неприятные сюрпризы за пределы своих искусственных границ. Техне наиболее подходит тем видам деятельности, «которые имеют единственную цель, и цель эта может быть конкретно указана отдельно от самой деятельности и может быть измерена количественно». Так, задача, с которой с наибольшим успехом справилось научное сельское хозяйство, – как собрать наибольшее количество бушелей урожая при наименьших затратах на акр земли, и это было продемонстрировано на испытаниях одной культуры в течение одного сезона на опытных участках. Вопросы общественной и хозяйственной жизни, семейные нужды, длительное сохранение почвенной структуры, экологическое разнообразие и его поддержание трудно и вобрать, и целиком исключить. Формулы эффективности, производственных функций и разумной деятельности могут быть выделены только тогда, когда желанные перспективы просты, ясно определены и, следовательно, измеримы. Проблема, как признавал Аристотель, состоит в том, что некоторые реальные возможности «даже в принципе не могут быть как надо и полностью отражены системой универсальных правил». Он выделил навигацию и медицину как два вида деятельности, в которых практическая мудрость, связанная с большим опытом, является обязательной для наилучшего выполнения работы. Таковы практики, полные метиса, в которых требуется быстрая реакция, импровизация и умелые последовательные приближения к ситуации. В отличие от Платона, Сократ преднамеренно воздерживался от записей своих обучающих бесед, потому что он верил, что область философии принадлежала больше метису, чем эпистеме или техне. Письменный текст, даже если он и принимает форму философского диалога, является выхолощенным набором кодифицированных правил. Устный диалог, напротив, является живым и зависящим от взаимопонимания участников, достигая таких результатов, которые не могли быть определены заранее. Сократ, несомненно, полагал, что взаимодействие между учителем и учениками, которое теперь называется сократическим, а не итоговый текст, и есть философия. **Практический опыт и научное знание.** Только осознав потенциальные возможности и диапазон охвата метиса, можно оценить, какой ценной информации лишают себя высокомодернистские системы, когда, не обращая внимания ни на что, навязывают свои планы. Одной из основных причин отвержения метиса, особенно в самовластной империи научного знания, является довод о том, что «открытия» метиса – практические, контекстуальные и привязаны к конкретному времени, а научные рассуждения обещают обобщенные решения. Мы проследили особенности метиса в действии на исторически сложившихся традиционных измерениях площади, веса и объема. Его задачей всегда было достижение частной цели или выражение характерной местной особенности (например, «ферма двух коров»), а не приспособление к какой-то универсальной единице измерения.

Сила практического знания зависит от исключительно скрупулёзного и пронизательного наблюдения за окружающей средой. К настоящему моменту должно быть уже очевидно, почему традиционные земледельцы, подобные Скванто, такие превосходные наблюдатели своей среды, но стоит перечислить причины этого в контексте сравнения с научным знанием. Во-первых, результаты тщательного наблюдения жизненно важны для этих земледельцев. В отличие от ученого-исследователя или консультанта по вопросам сельского хозяйства, которым не приходится следовать

своим советам, крестьянин сам является непосредственным потребителем собственных решений. В отличие от типичного современного фермера, у крестьянина нет дополнительных специалистов, на которых можно было бы положиться, кроме как на своих соседей, имеющих кое-какой опыт; он должен принимать решения, опирающиеся на свои собственные знания. Во-вторых, я уверен в том, что бедность, предельно низкое экономическое состояние многих из этих земледельцев сами по себе уже представляют вескую причину для тщательного наблюдения и экспериментирования. Представьте гипотетический случай: два рыбака должны прокормиться от реки. Один рыбак живёт у реки, где улов устойчив и избыточен. Другой живёт у реки, где улов изменчив и редок, допускает только бедное и сомнительное пропитание. Более бедный из этих двух, несомненно, будет иметь непосредственную жизненно важную заинтересованность в изобретении новых методов ловли рыбы, в тщательном наблюдении за повадками рыбы, в точном расположении сетей и запруд, в выборе времени и в признаках сезонных косяков различных видов рыб во время миграции и т.д. И при этом мы не должны забывать, что крестьянин-земледелец или пастух живут на месте своих наблюдений из года в год. Он будет наверняка знать такие вещи, которых никогда не заметили бы ни ленивый земледелец, ни ученый-исследователь. Наконец, как упомянуто в предыдущей главе, такой земледелец всегда является членом сообщества, которое служит его жизненным окружением, устной справочной библиотекой результатов наблюдений, использования методов и экспериментирования – суммарным знанием, которое никогда и никакой индивидуум не смог бы накопить в одиночку.

Метис с его упором на практическое знание, опыт и стохастическое рассуждение, конечно же, не просто ныне вытесненный предшественник научного знания. Он является способом рассуждения, наиболее соответствующим сложным материальным и социальным задачам, где неопределённость так велика, что мы должны доверяться нашей интуиции, основанной на опыте, и проверять каждый свой шаг. Описание управления гидроресурсами в Японии, данное Альбертом Говардом, предлагает нам поучительный пример: «Контроль почвенной эрозии в Японии подобен игре в шахматы. Лесничий, после изучения размывтой водами долины, делает свой первый ход, расположив и построив в определённом месте одну или несколько контрольных дамб. Он ждет ответного хода матушки-природы. Она, в свою очередь, определяет последующий ход лесничего, который может состоять в строительстве ещё одной или двух дополнительных дамб, увеличении размеров прежней дамбы или в строительстве опоры, подстраховывающей стены дамбы. Ещё одна пауза для размышления, потом следующий ход и так далее, пока эрозии не нанесено поражение. Действия естественных сил, таких, как образование осадка и появление новой поросли, находятся под присмотром и используются с наибольшей выгодой, чтобы снизить затраты и получить практические результаты. Невозможно предпринять что-либо большее, чем это уже сделано самой природой в данном месте». В примере Говарда специалист неявно признает, что он имеет дело со «знанием определённой долины». Каждый благоразумный маленький шаг вперёд, основанный на предшествующем опыте, порождает новые и не вполне предсказуемые эффекты, которые станут точкой отсчёта для следующего шага. Фактически любая сложная задача, вовлекающая множество переменных, чьи значения и взаимовлияния не могут быть точно спрогнозированы, принадлежит к подобным сюжетам: строительство дома, ремонт автомобиля, усовершенствование нового реактивного двигателя, хирургическая операция на колене или возделывание участка земли.

Более тридцати пяти лет тому назад, признавая невыразимую сложность амбициозной социальной политики, Чарльз Линдблом подбросил в речевой обиход забываемое выражение «наука выкарабкивания». Фраза пыталась выразить сущность практического подхода к крупномасштабным политическим проблемам, которые не могли быть полностью понятыми, не говоря уже о всестороннем подходе к ним. Структуры государственных служб, жаловался Линдблом, неявно допускали предсказуемость политического действия, в то время как на практике знание было ограничено и фрагментарно, а средства никогда не могли быть чётко отделены от целей. Его характеристика существующей политической практики подчеркивала постепенность подобного подхода, последовательность проб и ошибок, которая постоянно должна была пересматриваться в свете предыдущего опыта и прирастала урывками. Альберт Хиршман сделал тот же самый вывод, хотя гораздо более метафорический, сравнивая социальную политику со строительством дома: «Архитектор социального переустройства никогда не сможет иметь надежного проекта. Не только каждое здание, которое он строит, отлично от любого другого, которое было построено прежде; ведение строительства с необходимостью использует новые строительные материалы и даже экспериментирует с не проверенными еще на практике законами напряжений и принципами конструкции сооружений. Так что наибольшую пользу строители получают от осознания того, что только учет опыта позволит осуществить данное строительство при других обстоятельствах». Взятые вместе, позиции Линдблома и Хиршмана равнозначны хорошо продуманному стратегическому отступлению от претенциозного к всестороннему и рациональному планированию. Если отбросить социологический жаргон, термины «угадывание» (а не «искусство предсказания») и «удовлетворительность» (а не «максимизация») описывают мир, живущий и действующий при помощи догадок и житейских правил, что очень похоже на метис.

Познание не из книг. Подход постепенного «выкарабкивания» кажется единственным логичным курсом в такой сфере, как контроль эрозии или социальная политика, где наверняка что-нибудь пойдет не так. Тот факт, что в этих случаях уровень неопределённости и, следовательно, потенциальной угрозы может быть уменьшен при ведении процесса более управляемыми шагами, вовсе не означает, что любой новичок смог бы взять на себя ответственность за его выполнение. Напротив, только человек с большим опытом окажется способен взвесить все за и против результатов начального шага, чтобы определить последующий. Представьте себе гидрологов или политических руководителей, которые не раз попадали во внештатные ситуации и сумели выкрутиться. Их реакция будет более квалифицированной, их суждение в оценке среды надёжнее, их понимание, каких здесь возможны неожиданности, более точным. Еще раз подчеркнём, что некоторую часть их способностей можно выразить и передать другим, но многое из них так и осталось бы скрытым, а именно интуиция, которая появляется в результате долгой практики... Информация метиса зачастую настолько неявна и произвольна, что его носитель не может объяснить, чем он, собственно, руководствуется.

Даже та часть метиса, которая может быть передана житейскими правилами, есть кодификация практического опыта. Варить кленовый сироп – большое искусство. Если переварить, сок выкипит. Конечную точку работы можно определить с помощью термометра или ареометра (который укажет определенную вязкость). Но люди с опытом ждут пену из маленьких пузырей, образующихся на поверхности сока непосредственно перед тем, как он начинает выкипать, и эта картина представляет собой визуальное практическое правило, которое гораздо легче использовать. Однако для того, чтобы выработать интуицию, необходимо, по крайней мере, единожды, ошибиться и испортить дело. Китайские рецепты, что всегда развлекало меня, часто

содержат следующую инструкцию: «Нагрейте масло, пока оно почти не задымится». Рецепты предполагают, что повар достаточно часто ошибался, чтобы помнить о том, как выглядит масло непосредственно перед тем, как оно начинает дымиться. Сугубо практические правила для кленового сиропа и масла, по определению, есть правила, полученные благодаря опыту.

Мысль, которую я выражаю, не нуждалась бы в подчеркивании или сложной иллюстрации, если бы узкое понимание науки, современности и эволюции не определяло бы полностью доминирующий способ мыслить, не заставляло бы рассматривать все другие виды знания как отсталую косную традиционность, бабушкины сказки и предрассудки. Высокий модернизм нуждался в этом «другом» – невежественном двойнике, чтобы появиться на сцене в качестве противодействующей силы и ратовать против отсталости. Бинарная оппозиция исходит из истории противоборства, возникшего вокруг этих двух форм знания, со стороны институций и их кадров. Современные исследовательские учреждения, сельскохозяйственные экспериментальные станции, поставщики удобрений и техники, проектировщики высокомодернистских планов города, разработчики планов развития стран Третьего мира и чиновники Всемирного банка проложили себе узаконенный путь преуспевания в значительной степени путём систематического очернения практического знания, которое мы называли метисом. Нет ничего более далекого от истины, чем такая характеристика. Метис, далекий от косности и монолитности, отличается пластичностью, локальностью и дивергентностью. Именно эти особенности стиля метиса, его контекстуальный и фрагментарный состав делают его столь восприимчивым и столь открытым для новых идей. Метис не имеет никакой доктрины или централизованного обучения – здесь каждый практик имеет свою собственную точку зрения. В экономическом смысле одним из самых лучших испытаний для метиса зачастую является рынок, местная монополия, вероятнее всего, будет разрушена новаторством снизу или извне. Если новая технология работает, она наверняка найдет клиентуру. Защищая приверженность традиционализму от рационализма, Майкл Оукшот подчеркивает прагматизм реальных существующих традиций: «Большая ошибка рационалистического подхода, хотя это и не свойственно самому методу, состоит в предположении, что «традиционное» или, лучше сказать, «практическое» знание, неподатливо, фиксировано и неизменно, фактически же оно исключительно подвижно». Традиция, отчасти в силу местных вариаций, является гибкой и динамичной. «Никакой традиционный способ поведения, никакой традиционный навык никогда не остаются неизменными, - подчёркивает он всюду. - Его история – непрерывное изменение». Изменения, возможно, скорее будут небольшими и постепенными (инкрементализм), чем внезапными и прерывистыми.

Можно только приветствовать, причём с большими основаниями, исчезновение великого множества некоторых местных знаний. Как только спички стали широко доступными, с чего бы вдруг кому-то захотелось узнать, кроме как из праздного любопытства, как высечь огонь с помощью кремня и трута? Умение отстирывать одежду с помощью стиральной доски или на камне на реке, требует несомненного искусства, но его с удовольствием потеряли те, кто может позволить себе купить стиральную машину. Подобным же образом и без большой ностальгии были забыты навыки починки носков, когда на рынке появились дешёвые носки машинной вязки. Старые бугисские моряки говорят: «Теперь, имея таблицы и компасы, любой может управлять судном». Действительно, почему нет? Производство стандартизированного знания сделало некоторые навыки более широко – более демократически – доступными, поскольку они больше не являются заповедной зоной гильдии, которая может

отказаться в допуске к ним или настаивать на долгом ученичестве. Многие из мира метиса, что мы потеряли, есть почти неизбежный результат индустриализации и разделения труда. И многие из этих потерь были осознаны, как освобождение от тяжелого труда и нудной работы. Но было бы серьезной ошибкой полагать, что разрушение метиса было просто непреднамеренным и неизбежным побочным продуктом экономического прогресса. Разрушение метиса и замена его стандартизированными формулами, узаконенными сверху, входит в проект действия и государства, и крупномасштабного бюрократического капитализма. Говоря о «проекте», заметим, что это скорее объект постоянных инициатив, которые никогда не были полностью успешны потому, что ни одна форма производства или социальной жизни не может быть приведена в действие одними формулами, то есть без метиса. Однако движущая цель проекта отражает логику контроля и присвоения. Местное знание, ввиду того, что оно рассредоточено и относительно независимо, позволяет всё, кроме регламентации. Сокращение или, что более соответствует утопической картине, устранение метиса и местный контроль, который следует за этим, и есть предпосылки проектов государства, административного порядка и финансового управления, а также в случае крупной капиталистической фирмы, трудовой дисциплины и прибыли. Подчинение метиса довольно легко видеть в развитии массового производства на фабрике. Я полагаю, что сопоставимый процесс деквалификации рабочей силы в сельскохозяйственном производстве является более трудно преодолимым и, учитывая препятствия на пути полной стандартизации, в конечном счете, менее успешным. Как убедительно показала одна из ранних работ Стивена Марглина, капиталистическая прибыль требует не просто эффективности, но комбинации эффективности и контроля. Решающие инновации разделения рабочей силы на уровне комплектующих изделий и концентрация производства на фабрике представляют собой ключевые шаги в постановке трудового процесса под унитарный контроль. Эффективность и контроль в принципе могли бы совпадать, как, например, в случае механизированного прядения и плетения из хлопка. Однако иногда они абсолютно не связаны и даже несовместимы. «Эффективность в лучшем случае создаёт потенциальную прибыль, - замечает Марглин. - Без контроля капиталист не может превратить эту прибыль в существующую. Таким образом, организационные формы, которые усиливают капиталистический контроль, могут увеличивать прибыль и этим привлекать капиталистов, даже если они неблагоприятны по отношению к производительности и эффективности.

Утопическая мечта тейлоризации – фабрика, в которой движения каждой пары рук сводились бы до автоматизма, как у запрограммированных устройств, – оказалась на деле нереализуемой. И не потому, что не делалось попыток. Дэвид Нобл описал хорошо профинансированный проект разработки станков с цифровым управлением, так как он обещал «освобождение от рабочего-человека». Полный провал этих попыток потому и произошел, что система Тейлора при разработке не учитывала метис – практическое приспособление опытного рабочего, которое делается, чтобы компенсировать небольшие изменения в материале, температуре, износ или неисправность механизма, технический сбой и т.д. Как сказал один оператор: «Думают, что цифровые средства управления – это какое-то волшебство, но всё, что вы можете сделать автоматически, так это только выпустить брак». Это заключение можно обобщить. В блестящем описании рутинной работы станочников, чьи профессии, казалось, были полностью деквалифицированы, Кен Кастерер показал, как рабочим всё же пришлось развить индивидуальные навыки, абсолютно необходимые для успешного производства, которые никогда не могли быть выражены в руководствах для новичков. Один станочник, чья работа считалась низко квалифицированной,

провёл аналогию между выполнением своей работы и вождением автомобиля: «Все автомобили в основном похожи, но каждый автомобиль своеобразен... В начале обучения вы просто изучаете правила движения. Но как только вы научились ездить, вы приобретаете чувство автомобиля, который вы ведёте. Вы понимаете, как он ведёт себя при различных скоростях, как работают тормоза, когда мотор начинает перегреваться, как завести его, когда холодно... Теперь, если представить себе старые автомобили, похожие на эти станки, причём некоторые из них работали по три смены в течение двадцати лет, это будет похоже на то, как если бы у вас был автомобиль без гудка, который начинает поворачивать направо, когда вы нажимаете на тормоз, который не заводится, если вы не зальёте бензин определённым образом, – тогда, возможно, вы поймёте, что значит пытаться работать на таком старом станке». Тейлоризация также имеет свой аналог в сельскохозяйственном производстве, аналог, имеющий гораздо более длинную и разнообразную историю. В сельском хозяйстве, как и в промышленности, просто эффективность формы производства не гарантирует присвоения налогов или получения прибыли. Как мы уже отмечали, независимое хозяйство мелкого фермера может представлять наиболее эффективный способ выращивания многих культур. Но такие формы сельского хозяйства, хотя они и допускают налогообложение и получение прибыли после полного сбора, обработки и продажи своей продукции, являются относительно непроницаемыми и трудными для контроля. Как это уже было с независимыми ремесленниками и мелкобуржуазными владельцами магазинов, контролирование коммерчески успешных мелких ферм представляет собой кошмар для администратора. Возможностей для уклонения и сопротивления масса, а цена получения точных ежегодных данных очень уж высока, если вообще не чрезмерна. Государство, заинтересованное главным образом в присвоении и контроле, всегда предпочтёт оседлую форму сельского хозяйства ведению пастбищного хозяйства или переложному земледелию. По тем же причинам государство вообще предпочитает крупную земельную собственность мелкой и, в свою очередь, плантации или коллективное сельское хозяйство им обеим. Там, где контроль и присвоение являются наиважнейшими соображениями, очевидно, что только две последние формы предлагают прямой контроль над рабочей силой и доходом...

Доводы против имперского знания. Говорят,... что он был так предан Чистой Науке,... что предпочел бы, чтобы люди умирали от правильной терапии, чем вылечивались благодаря неправильной. - Синклер Льюис, Эрроусмит. Рассуждение, которое я позволяю себе, направлено вовсе не против самого высокого модернизма, или государственных упрощений самих по себе или самого по себе эпистемического знания. Наши идеи относительно гражданства, программ народного здравоохранения, социального обеспечения, транспорта, связи, единого государственного образования и равенства перед законом все находятся под мощным влиянием государственных высокомодернистских упрощений. Позволю себе заявить, что первоначальные земельные реформы в большевистской России и в послереволюционном Китае были упрощениями при содействии государства, которые предоставляли действительные права миллионам людей, прежде жившим при фактическом крепостничестве. Эпистемическое знание, никогда не отделяемое в жизни от метиса, обеспечило нас наукой о мире, от которой, несмотря на все ее темные аспекты, вряд ли кто-то хотел бы отказаться. Действительно опасным для нас и для нашей среды оказалась, я думаю, комбинация претензии эпистемического знания на универсальность и авторитарность проектирования социальной жизни. Такая комбинация имела место в планировании городов, в ленинском понимании революции (но не в его практической деятельности), в эпоху коллективизации в Советском Союзе и в виллажиза-

ции в Танзании. Подобная комбинация скрыта в логике научного сельского хозяйства и совершенно очевидна в колониальной практике. Когда подобные схемы почти достигают выполнения своих на самом деле невыполнимых утопий об игнорировании или подавлении метиса и местного своеобразия, они разве что гарантируют собственную практическую неудачу. Заявления об универсальности кажутся свойственными пути, по которому идет рационалистическое знание. Хотя я не философ, занимающийся вопросами знания, кажется мне, что в эпистемическом здании отсутствует дверь, через которую метис или практическое знание могли бы войти на собственных условиях. Это и есть тот самый империализм, который имеется в виду. Как писал Паскаль, «большая ошибка рационализма состоит не в его признании технического знания, а в его отказе признавать любое другое». В противоположность этому, метис не кладет все яйца в одну корзину; он не претендует на универсальность, и в этом смысле он обладает плюрализмом. Конечно, определенные структурные условия могут противоречить имперскому духу эпистемических заявлений. Демократические и коммерческие требования иногда обязывают сельскохозяйственных учёных отталкиваться в своей работе от практических задач, поставленных фермерами.

Авторитарные высокомодернистские государства, находящиеся во власти самоочевидной (но, как правило, незрелой) социальной теории, принесли непоправимый вред человеческому сообществу и жизни человека. Ущерб увеличился, когда лидеры пришли к уверенности, как выразился Мао, что люди – это чистые листы, на которых новый режим может писать. Социалист-утопист Роберт Оуэн полагал то же самое относительно фабричного городка Нью-Ланарк, хотя скорее на гражданском, чем на национальном уровне: «каждое поколение, во всяком случае, каждая администрация должны видеть раскрытую для них незаполненную страницу неограниченных возможностей, и если случайно этот чистый лист был исковеркан неразумными набросками скованных своими традициями предков, то первая задача рационалиста должна состоять в том, чтобы отскрести его до чистоты». Я считаю, что консерваторы вроде Оукшота упустили из виду, что высокий модернизм имеет естественную притягательность для интеллигенции и людей, которые имеют достаточно причин ненавидеть прошлое. Колониальные модернизаторы последних лет иногда немилосердно употребляли свою власть для преобразования населения, которое они считали отсталым и весьма нуждающимся в руководстве. Революционеры имели достаточно причин презирать феодальное прошлое, погрязшее в бедности и неравенстве, с которыми они надеялись покончить навсегда, но они также имели основания подозревать, что безотлагательная демократия просто возвратит старый порядок. Лидеров государств, только что получивших независимость в непромышленном мире (иногда это были сами революционные лидеры), нельзя обвинять в ненависти к своему колониальному прошлому и экономическому застою, а также в том, что они не прилагали никаких усилий или не имели демократической гордости, чтобы сотворить народ, которым они могли бы гордиться. Однако понимание хода исторического развития и логики их приверженности целям высокого модернизма не позволяют нам умолчать о том огромном ущербе, который получился в результате соединения их убеждений с авторитарной государственной властью.

Такие термины, как «местное техническое знание» и «народная мудрость», кажется мне, ограничивают это знание «традиционными» или «отсталыми» людьми, но я хочу подчеркнуть, что эти навыки неявно существуют в наиболее современных из действий, совершаются ли они на фабричном полу или в научно-исследовательской лаборатории. «Местное знание» и «практическое знание» лучше выражают смысл, но оба термина кажутся слишком ограниченными и статическими, чтобы схватить

постоянное изменение, динамический аспект метиса. Термин пришел к нам из греческой мифологии. Метис, первая невеста Зевса, обманула Хроноса, дав ему проглотить траву, которая заставила его извергнуть старших братьев Зевса, которых Хронос проглотил, боясь, что они восстанут против него. Зевс в свою очередь проглотил Метис, таким образом присвоив себе весь ее ум и хитрость, прежде, чем она могла родить Афину. Афина была рождена из бедра Зевса. Различие между первыми, неуклюжими шагами малыша, начинающего ходить, и походка ребенка, который ходит уже год, показывает меру сложности и необходимость «обучения на рабочем месте» для овладения таким очевидно простым навыком.

Марглин (Marglin, "Economics and the Social Construction of the Economy," p. 31.) также описывает и подвергает критическому анализу попытки в пределах эпистемической экономики иметь дело с такими проблемами, как общественное благо, стабильность и неопределенность. Фридрих Хаек скептически относился к таким попыткам: «то заблуждение, что продвижение теоретического знания даст нам возможность уменьшить сложные взаимосвязи и свести их к установлению конкретных фактов, часто ведет к новым научным ошибкам.. .. Такие ошибки возникают в значительной степени из-за претензий на знания, которыми на деле никто не обладает и которое даже прогресс науки обеспечит не скоро» (Studies in Philosophy, Economics, and Politics [Chicago: University of Chicago Press, 1967], p. 197).

Неявное знание – основной элемент дискурса в философии и психологии познания. См., например, Gilbert Ryle, *Concept of the Mind* (New York: Barnes and Noble, 1949), чье различие между «знанием, как» и «знанием, что» аналогично моему различению метиса и эпистеме, а также Jerome Bruner, *On Knowing: Essays for the Left Hand* (Cambridge: Belknap Press, Harvard University Press, 1962). Передачи в баскетболе можно изобразить схематически и даже преподавать, но способность делать их в движении и натиске реальной игры, увы, совсем другое дело. Подобная история существует о человеке, умиравшем в больнице Чикаго от болезни, которую врачи не могли диагностировать. Хотя они знали, что в поездках его за границу он мог подхватить тропическую болезнь, их тесты и исследования были напрасны. Однажды опытный доктор из Индии проходил по палате с коллегой, вдруг остановился, потянул воздух и сказал: «Здесь лежит человек с X» (я не помню название болезни). Он был прав, но, к сожалению, пациента спасти уже не удалось (Howard, *An Agricultural Testament*, pp. 29-30.). Марглин заметил, что слово «искусный» несет идею опытного знания ремесла вместе с образом «хитрости», что и означает «метис» (см. "Economics and the Social Construction of the Economy," p. 60). Бугисские мореплаватели – исключительно проницательные наблюдатели своей среды – моря, они собрали великое множество признаков, чтобы предсказывать погоду, ветер, подход к берегу и потоки. Преобладающий цвет радуги имеет значение: желтое означает, что будет много дождей, синее означает сильный ветер. Утренняя радуга на северо-западе означает начало западного муссона. Если рельс (по которому бьют) гудит «кеч, кеч, кеч», это означает изменение ветра. Когда птицы парят высоко, не позднее, чем через два дня будет дождь. Многие из этих надежных связей можно было бы, возможно, объяснить и «с научной точки зрения», но они служили быстрыми, точными, а иногда и спасительными сигналами для целых поколений (Ammarell, "Bugis Navigation," chap. 5, pp. 220-82).

Само собой разумеется, что новые формы метиса создаются постоянно. Компьютерное хулиганство попадает в эту категорию. Метис, как должно быть вполне ясно, вездесущ, он существует в современном обществе и в менее современных, и,

возможно, критическое различие – то, что в сравнении с доиндустриальными обществами, современные общества особенно уверены в кодифицируемом, эпистемическом знании, передаваемом через формальное обучение. Несомненно, долгое ученичество не было необходимым для обучения молодого ремесленника, а было тонко замаскированной формой эксплуатации, предназначенной увеличить прибыль владельца.

Заключение. Они перестраивали общество на основе абстрактного плана во многом так же, как астрономы переделывали вселенную для удобства вычислений. - Пьер-Жозеф Прудон про утопических социалистов.